

## Клуб рассказчиков



Алексей ГОРШЕНИН

### ПОДРУГИ

#### ПИКОВАЯ ДАМА СУЗИТ ГЛАЗКИ...

Ужасная судьба отца и сына  
Жить розно и в разлуке умереть...

М. Лермонтов

Уже третьи сутки трясется Виктор в душном вагоне. Отлежал бока, устал сидеть, стоять. Менялись в купе попутчики, а он продолжал уноситься с поездом в бесконечность сибирских просторов. Виктор отрешенно смотрел в окно и ничего там не видел. Все сливалось в сплошную пеструю ленту, разматывавшуюся в противоположном движению поезда направлении. Но время от времени всплывало на ленте и фиксировалось стоп-кадром сумрачное, как грозовое облако, лицо Марины в обрамлении темных вьющихся волос и уничтожающим взглядом черных глаз. И не обидные слова, камнем брошенные при прощании ему вслед, а именно взгляд этот преследовал Виктора теперь всю дорогу.

«Пиковая дама сузит глазки –  
Жизнь пойдет, как поезд  
под откос... –

выдал поэт и выпивоха Пашка, приятель Виктора, после того, как завалились они к нему однажды после уже изрядно выпитого «отполировать». Не следовало бы, по-хорошему, но Виктору, словно шлея под хвост, захотелось немедленно представить поэту свою любовь, о которой он ему столько рассказывал. Она уже была в положении, что, конечно же, следовало учитывать, но когда море по колено, никакие резоны не в счет.

Дальше порога их не пустили. Молча, без скандала. Только сузились, запылали грозowymi бликами ее глаза. И тут же захлопнулась перед ними дверь. Вот тогда Пашка и выдал...

Поезд стало заносить на стрелках, и показались станционные постройку. А через несколько минут, скрипя тормозами и лязгая вагонными сцепками, состав после долгого изматывающего перегона остановился. Виктор вышел на перрон размяться, подышать.

Вдоль вагонов бежали рысцой местные тетки, предлагая пассажирам горячую вареную картошку, соленые грузди и рыжики, домашние пирожки с той же картошкой и грибами. От аппетитных запахов засосало под ложечкой. Виктор и не помнил, когда в последний раз ел. По-

---

Горшенин Алексей Валерьевич родился 18.05.1946 в г. Ульяновск), русский сов. писатель, лит. критик, окончил историко-филологич. ф-т Томского ун-та (1969), первые публикации в газ. "Сов. Сибирь", "Вечерний Новосибирск" (1975). Печатался в газ. "Комсомольская правда", "Гудок", "Труд", "Лит. газета", "Лит. Россия", в журн. "Сиб. огни", "Октябрь", "Молодая гвардия", "Лит. обозрение", "Волга", "Дальний Восток", "Урал". Первая кн. — лит.-критич. сб. "Человек среди людей" (Н-ск., 1982). Чл. СП СССР, РФ. С 1979 по 2002 был сотрудником и членом редколлегии ж. «Сибирские огни».

глощенному переживанию ему было не до еды. Но сейчас организм решительно заявлял о себе. Виктор купил картошки, грибов, пару пирожков и, прижимая к груди газетные кульки со снедью, поднялся обратно в вагон.

С самого утра Виктор в купе ехал один. Но, вернувшись, застал нового пассажира. Немолодой мужчина с седым ежиком на голове, подняв нижнюю полку, втискивал в багажный рундук под ней пухлую дорожную сумку. Справившись с задачей, опустил полку и, увидев Виктора с кулками, посторонился, освобождая дорогу к столику.

– Будем попутчиками? – широко улыбнулся мужчина.

Виктор нервно дернул плечом. Он и с теми, кто ехал с ним раньше, не общался. Не хотелось разговаривать и сейчас. Но у мужа была такая располагающая улыбка, что Виктору сделалось неловко. Разве человек виноват в его личных неурядицах? И, пытаясь как-то реабилитироваться, сам спросил первое, что пришло в голову:

– А это какая станция?

Впрочем, из-за товарняка на первом пути, загородившего вокзал, Виктор и впрямь названия станции не разглядел.

– Ксеньевка. Следующая, часика через два – Могоча, – с той же располагающей улыбкой отозвался попутчик. – Как в здешних местах говорят: бог создал Сочи, а черт – Ксеньевку и Могочу.

– Что так? – удивился Виктор.

– Да тайга непролазная, гнус. А стоит углубиться, и вовсе гиблые места пойдут.

– Бывали здесь?

– Приходилось. Я – инженер-связист. Много где бывал. В здешней тайге – тоже.

– И сейчас из тайги?

– Ну, что вы! Года не те по дебрям лазить. Я ведь человек уже предпенсионного возраста. Ладно хоть в своей конторе еще востребован. Опыт, знаете ли всегда в цене... Даже в командировки иногда езжу. Чаще, правда, по местам, так сказать, своей «боевой» славы. Вот Ксеньевку посетил с «дружеским визитом», – хохотнул попутчик Виктора. – Когда-то участвовал тут в линейных изысканиях по проектированию магистрального телефонного кабеля. Четверть века назад его проложили, а сейчас пришла пора трассу обновлять, реконструировать...

Разговаривая, мужчина развернул скатанный матрас, принял у возникшего в дверях купе проводника комплект постельного белья, заправил, огладил напоследок одеяло и плюхнулся на полку.

– Ну, вот, можно ехать, – удовлетворенно сказал он и протянул руку: – Будем знакомы. – Виктор Павлович.

– А я – Виктор.

– Надо же – тезка! Ну, и чудненько! За такое совпадение, да и вообще за знакомство не грех и выпить по маленькой. Заодно и хорошенько закусить. Время-то к ужину подкатывает. И я вижу, Виктор, вы тоже как раз поесть собирались?

На Виктора накатил такой приступ голода, что, не в силах и слова сказать, он только кивнул в ответ.

– Ну, тогда минутку терпения.

Виктор Павлович извлек из-под вагонного столика довольно объемистый пластиковый пакет и стал доставать оттуда колбасу, консервы, помидоры, сыр, малосольные огурцы, котлеты. Быстро и ловко (бывалый, по всему видно, путешественник) все это порезал, вскрыл, разложил в одноразовые пластиковые тарелочки, не забыв и картошку с грибами Виктора. Напоследок торжественно водрузил на столик бутылку водки.

– Ну вот! – удовлетворенно потер он руки, оглядывая возникший его стараниями натюрморт, и жестом пригласил Виктора: – Прошу!

Также ловко, почти не глядя, Виктор Павлович разлил в небольшие пластмассовые стаканчики, поднял свой первым:

– За знакомство и добрый путь!

Они выпили, захрустели огурцами. И тут Виктор, утихомиривая зверский голод, почувствовал на себе пристальный взгляд попутчика. Он поднял голову, и глаза их встретились...

Нет, Виктор никогда раньше не видел этого человека, но мог поклясться и спорить, что его лицо ему знакомо.

Виктор Павлович тоже впервые лицезрел этого, лет тридцати симпатичного русоволосого голубоглазого парня, но что просматривалось в нем удивительно знакомое, если не сказать, родное. Виктор Павлович собрался, было, поинтересоваться, не пересекались ли они когда раньше, но его остановили смутная пока догадка. Он снова налил в стаканчики. А когда выпили, поинтересовался:

– Откуда и куда путь держим?

– Из Новосибирска в Хабаровск.

– Смотри-ка – опять совпадение! И мне в Хабаровск. Конечный пункт моей командировки. Домой едем?

– Да нет, к матери в гости.

– К матери...

Виктор Павлович замолчал, начал смотреть в окно. Виктор тоже повернул туда голову. И станция, и поселок остались позади, уступив место уходящим к горизонту бесконечной чередой забайкальских сопков, обросших хвойной растительностью, и жмущейся к железной дороге реке. Перед поселком она отступила, но теперь, обогнув его, снова вернулась на

место верного спутника магистрали, чтобы с нею продолжить путь.

«Как мы с Маринкой когда-то – неразлучной парочкой», – подумалось Виктору, и умягченная, было, алкоголем тоска снова навалилась на него.

– Что это за река? – спросил Виктор.

– Урюм, – отвлекся от созерцания Виктор Павлович. – Черный Урюм.

– Почти Угрюм.

– Под Угрюм-рекой Шишков скорее всего имел в виду Нижнюю Тунгуску. А в Забайкалье писатель, насколько я помню, не был. Но Урюм тоже достоин художественного изображения. Красив и с характером. Как там в песне поется? «По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах...» Это про Урюм. Золотишко здесь с середины девятнадцатого века мыли. Сейчас, правда, тут старателя с лотком вряд ли найдешь – в основном драгами добывают. Вон, кстати, одна из них...

Виктор глянул туда, куда показывал попутчик, и увидел невдалеке сидевшее прямо на речном русле внушительное многоэтажное сооружение, похожее на громадную землечерпалку.

– Может, где-то тут и своя Синильга отыщется?

– Синильга – не Синильга, но без легенды о несчастной красавице и здесь не обошлось. Станцию-то неспроста Ксеньевкой назвали.

– И чем она знаменита?

– Да особенно-то ничем. Геологи, золотодобытчики, железнодорожники... Вот ее население. Невеликое. Тысяч пять, не более. Интересна история ее названия. Вообще-то две версии существуют. Одна связана с дочерью Ерофея Павловича Хабарова, именем которой селенье это, якобы, названо. По иной версии замешана тут другая Ксения – дочь крупного сибирского золотопромышленника, владельца местного прииска. Сказывают, влюбилась та Ксения в молодого старателя, а родитель, узнав, сильно осерчал. Он-то ей совсем другую партию подыскал – за человека из своего круга решил отдать. А возлюбленному Ксении пригрозил, что если тот не отступится от нее – на каторге сгноит. Парень ушел в тайгу и не вернулся. А безутешная Ксения буквально накануне свадьбы с крутого обрыва в Урюм бросилась. С тех пор, прозрачный до самого дна Урюм, якобы потрясенный случившейся трагедией, помутнел и стал Черным, а золотоискатели дали своему поселку новое имя – Ксеньевка. Как все на самом деле – не знаю, но мне этот вариант импонирует больше.

– Очень романтично! – согласился Виктор. А знаете, – оживился он, – у меня мама – Ксения! Ксения Николаевна.

При этих словах Виктор Павлович встрепенулся и вполголоса, будто себе самому только, пробормотал:

– Ну, вот, еще одно совпадение...

– Что? – не расслышал Виктор.

– Да так... – замаялся Виктор Павлович, но все же пояснил: – И мою первую любовь Ксенией звали. Ее, кстати, я тоже когда-то в Новосибирске встретил. – Виктор Павлович сделал паузу и поднял стаканчик: – Значит, сам бог велел выпить нам за Ксений.

Зашуршал, зашипел, словно выпуская скопившийся воздух, висящий над окном репродуктор, послышались среди шума и треска слова, обрывки фраз, среди которых можно было разобрать: «Добрый день, дорогие радиослушатели! Радио «Шансон» продолжает свою работу». Потом помехи стали освобождать эфир, и трогательный женский голос из репродуктора начал заполнять собой пространство купе:

В шумном городе мы встретились  
с тобой,

До утра не уходили мы домой.

Зорька звезды погасила,

И нам ночи не хватило.

Чтоб друг другу все сказать...

И у них с Маринкой, вспомнилось Виктору, тоже все, как в песне, начиналось. Шел он по улице, поравнялся у светофора с девушкой, повернул голову в ее сторону, встретился взглядом и вдруг – замкнуло. Чуть удлинненные в разрезе черные глаза, напоминавшие формой косточки слив, с непреодолимой силой повлекли Виктора к себе. Но и черноглазая незнакомка в облаке темных вьющихся волос смотрела на него, как на долгожданную, давно желанную находку.

– Виктор, – протянул он ей руку.

– Марина, – откликнулась она, ответно скидывая свою ладонь.

И они шагнули навстречу друг к другу. Светофор не раз подмигивал им зеленым глазом предлагая перейти улицу, а они, словно оглушенные, продолжали стоять, мешая прохожим. Наконец, очнувшись, взялись за руки и бродили по городу весь день, а потом до рассвета сидели, обнявшись, на скамейке бульвара, до рассвета. Короткой летней ночи им тогда тоже явно не хватило.

А дома Виктор никак не мог заснуть. В пустой квартире было одиноко, неудобно. Оставив ее сыну, мать уехала в Хабаровск к больной сестре, за которой требовался уход. Звала с собой и Виктора, но он недавно удачно нашел работу в одной неплохой фирме, поэтому бросать все это ему совсем не хотелось.



– Да она всю жизнь на телефонной станции проработала. Сначала просто телефонисткой, а после окончания института выше пошла....

Еще одно совпадение – его Ксения тоже была телефонисткой, констатировал про себя Виктор Павлович, и подумал, не многовато ли их, совпадений? А вслух поинтересовался:

– В Хабаровске?

– Да нет. В Хабаровске она недавно. За больной сестрой ухаживает. Хотя... Когда я был маленький совсем, мы там, кажется, тоже жили. Но вернулись.

«Так вот куда она тогда, наверное, пропала!..» – встрепенулся Виктор Павлович.

Он еще внимательнее всмотрелся в своего визави. И снова пришло ощущение чуть ли не родственной с ним близости. Словно в волшебное зеркало он сейчас глядел и видел в нем себя тогдашнего – молодого, вырвавшегося на простор самостоятельной жизни.

...И снова они танцевали, даже не возвращаясь, когда замолкала музыка, к пампушке. Ксения все так же сдерживала его попытки прижать ее к себе. Но Виктор чувствовал, что сопротивление девушки слабеет, однако из элементарной, наверное, стеснительности или зажатости она продолжает держать дистанцию.

– Не хочу больше, – вдруг прямо посреди очередного танца заявила Ксения и потянула Виктора за руку к выходу. На подругу она даже не оглянулась.

Виктор охотно последовал за ней. Ему и самому не терпелось быстрее уйти отсюда и уединиться где-нибудь в укромном местечке.

Только вот где его найти? Не в комнате же общаги на шесть коек. Тогда, наверное, где-нибудь здесь, в парке.

И они пошли вглубь аллеи. Ксения продолжала держать Виктора за руку, а он, чувствуя тепло ее ладошки, высматривал по пути свободную лавочку. Но очень быстро понял, что это напрасное занятие. Погожий выходной вечер шансов им не оставлял. Все скамейки были в плену влюбленных парочек. Побродив еще немного по парку, они пошли на выход. Возле ажурной арки парковых ворот с минуту молча постояли и огорченно посмотрели друг на друга.

– Ты где живешь? – спросил Виктор.

Ксения назвала улицу, а Виктор ругнулся про себя – и чего спрашивает, коли все равно города не знает. Конечно, самым, наверно бы, правильным было прямо тут распрощаться и разойтись каждому в свою сторону. Чтобы потом, возможно, и не встретиться никогда. Но не затем же они убегали с танцплощадки. Да и совсем

не хотелось Виктору расставаться. Ксении, чувствовал он, – тоже.

– Тогда пошли? – тронул он девушку повыше локтя.

– Пошли, – эхом отозвалась она и, как показалось Виктору, облегченно вздохнула.

Парк располагался почти в самом центре города, чуть ли не под боком у знаменитого на всю страну оперного театра, словно бы венчавшего своим гигантским чешуйчатым куполом сибирскую столицу. Но уже через несколько минут скрылись в сумраке и театр, и парк, осталась позади многоэтажная застройка центральных улиц, пошли небольшие двухэтажные кирпичные и брусчатые дома. А дальше и вовсе начался частный сектор с едва проступавшими из оград и палисадников одинаково серыми контурами одноэтажных строений. В нос бил терпкий дух огороженного разнотравья.

Пыльная дорога все время шла под уклон. А вскоре потянуло откуда-то снизу речной сыростью и помоями. Фонари здесь отсутствовали, и Виктору казалось, что они спускаются в глубины какого-то мрачного ущелья. Или некой фантастической «зоны». Как в новом романе братьев Стругацких «Сталкер», им недавно прочитанном. И чем дальше, тем все более не по себе ему становилось.

Виктор не был отчаянным храбрецом, однако за себя постоять мог. А на самый худой конец у него всегда был с собой складной нож. Пускать в дело до сих пор не приходилось, но его присутствие придавало уверенности. Так что тревожили Виктора не столько возможные хулиганы или голники, для которых подобные уголки и в самом деле настоящее раздолье, сколько почти мистическая аура этих мест.

Сначала Виктор заливался соловьем, веселил Ксению смешными историями, острил, не давая заскучать девушке. Но потом умолк, притих, и дальше они шли молча.

Наконец, Ксения свернула в узкий переулочек, очень быстро закончившийся тупичком.

– Вот, пришли, – сказала она, останавливаясь возле покосившегося штакетника с такой же кривоватой калиткой, за которой серым пятном проступало приземистое строение.

– Ты здесь живешь? – неуверенно спросил Виктор.

– Ага.

Ксения открыла ржаво скрипнувшую калитку, шагнула в крохотный не то дворик, не то палисадник, и потянула за руку Виктора. Они обогнули замшелый домишко-засыпуху с маленькими оконцами, больше похожий на полуврокшии в землю

блиндаж. Здесь оказался еще один клочок земли и вход в дом, в метре от которого Виктор увидел у стены лавочку – толстую плаху на вкопанных столбиках.

На ней они и присидели до самого утра. Сначала тесно сомкнувшись плечами. Потом Виктор сделал осторожную попытку обнять Ксению. И на сей раз сопротивления не встретил. Она только еще сильнее прижалась к нему.

О чем они тогда говорили? Виктор Павлович сейчас уже и не помнил совсем. Время сдуло слова, как дым, унесло, растворило. Да и какая разница – о чем? Все не это было важно для них, а то, что сидят они вот так, до невозможности близко, ощущая тепло друг друга и биение сердец.

Виктор поднял глаза к небу и удивился, какое оно здесь огромное и чистое, какие яркие на нем звезды. Словно и нет вокруг большого промышленного города.

– Я такие звезды только в детстве, в деревне, куда мы отдыхать ездили, видел, – признался Виктор.

– А у нас тут тоже деревня. Посреди города, – засмеялась Ксения, и вдруг воскликнула, ткнув вверх пальцем: – Ой, смотри, спутник!

И действительно, прямо над их головами неспешно пересекал Млечный Путь крохотный светлячок.

– Жаль, не слышно его. Может, он нам сигналит, а мы не слышим, – вздохнула Ксения.

– Пик... пик... пик... – попытался изобразить сигналы спутника Виктор. – Ксении привет... Ксении привет...

Слегка отстранившись, девушка повернулась к нему, и Виктор совсем рядом увидел ее лицо. Правда, в темноте теплой августовской ночи его очертания скорей угадывались, нежели явственно просматривались, но от этого казались особенно привлекательными. В глазах Ксении в жарком ожидании плескался звездный свет. Он завораживал, манил космической бездонностью, призывал окунуться и раствориться в нем. Глаза Ксении неотвратно приближались. Волна нежности заплеснула Виктора и бросила навстречу...

В их дальнейшей совместной жизни поцелуев было не счесть, но не они, а вот именно этот, самый первый – необыкновенно жадный, затяжной и головокружительно стремительный, как прыжок с нераскрытым парашютом, бьющий по телу нервным высоковольтным током – в памяти и остался навсегда...

Виктор Павлович вздохнул, посмотрел в окно. Река опять ушла в сторону от железной дороги, место мрачным листьями, карабкающимся на склоны сопки,

спряталась за их спинами, исчезла, потерялась в дремучих таежных распадках. Как тогда Ксения...

– А ваша первая любовь... – услышал Виктор Павлович голос Виктора.

Шел голос откуда-то издалека, но был странно знакомым, словно не от сидящего напротив молодого попутчика исходил, а от самого Виктора Павловича тридцатилетней давности.

– Что? – переспросил Виктор Павлович, стряхивая наваждение.

– Ксения, первая любовь ваша – что с ней сейчас?

Виктор Павлович хмуро молчал, а Виктор, истолковав это как реакцию на собственную бестактность, начал извиняться.

– Да ладно, – остановил его Виктор Павлович, – дело прошлое... Недолго наша музыка играла. Расстались мы... А Ксению я с тех пор не видел. И не слышал о ней ничего. Как сквозь землю провалилась!

Виктор Павлович повертел в пальцах пустой стаканчик. И вдруг увидел вместо него клочок бумаги с тремя короткими фразами: «Так больше продолжаться не может. Я ухожу от тебя. Прощай и не ищи!» – ее прощальную записку. А как поначалу все замечательно начиналось!..

Уже совсем рассвело, когда Виктор возвращался в общежитие. «Нахаловка» досматривала утренние сны. Засыпухи в слоеном тумане призрачными видениями выплывали на пути. Но склоны глубокого оврага, обсиженные ими, как мухами, в свете нарождающегося дня уже не внушали Виктору мистического страха. Тем более что в крохотных палисадниках заливались проснувшиеся раньше всех птицы, а сверху, со стороны парка им отвечали звонкие трели первых трамваев. Радость переполняла Виктора. Вечером его ждало новое свидание с Ксенией, и он уже сейчас жил сладостным его предвкушением.

Свиданий тех оказалось у них совсем немного. Недели не прошло, как Виктор остался ночевать у Ксении.

Жила она с бабушкой – подслеповатой, глуховатой старухой, согнутой годами. Виктор почему-то сразу пришелся ей не по душе. Наутро после первой их «брачной» ночи, когда он с наслаждением плескался на улице под рукойником, бренча железным носиком, он вдруг услышал почти над самым ухом ржавый бабкин голос:

– Ходят тут, прохиндеи всякие, добро наше замают.

От неожиданности Виктор выпрямился, чуть не ударившись лбом о рукойник. Согбенная старуха буравила его

злым взглядом глубоко посаженных глаз.

– Чо пялишь-то зенки свои бесстыжие, – продолжала она скрипеть. – Чисто коршун, горлинку сцапавший...

– Баба, перестань! – одернула ее Ксения, выныривая из-под низенькой притолоки входной двери. – Чего ты к человеку прицепилась?

– Ничо!.. Явился, вишь, не запылится... – еще сильнее распалилась старуха и накинулась на внучку: – Ты тоже хороша, шалава! Ишшо не венчаны, не расписаны, а уже сразу в койку... с кем попало...

– Да не с кем попало...

Ксения нежно погладила голый торс Виктора и коснулась губами его шеи. А бабка, плюнув в сердцах, поковыляла к двери.

– Вот уж я матери отпишу, как ты тут со всякими кувыркаииси... – слышалось ее возмущенное бормотание.

– Не обращай внимания, – успокоила Ксения. – Любит поскрипеть. Она и маму все время донимала: и то ей не так, и это... В конце концов достала – сбежала моя маманя от нее, на Дальний Восток.

– Что так далеко?

– А к бабушке. К матери своей и моей бабушке?

– А это чья мать-бабушка?

– Отцова, – пояснила Ксения и, как бы предупреждая следующий вопрос, сказала: – Погиб он. Авария на заводе, где он работал, случилась, вот его и...

– Извини, – смутился Виктор, не знал.

– Да ничего, давно это было. Мы хотели сразу же уехать, но мне надо было школу заканчивать. И бабуку оставлять совсем уж одну после случившегося тоже как-то... В общем, так и жили, будто три сироты. У бабуки чердак все сильней набекрень съезжал. Мамино терпение лопнуло, полтора года назад об эту пору она и уехала.

– А ты?

– А у меня институт, работа. Я хоть и заочно учусь, но ведь два раза в год на сессии оттуда сюда в такую даль не наездишься. И бабка опять же. Кроме меня, у нее никого больше не оставалось. Ладно, пошли завтракать... – легонько подтолкнула Ксения Виктора к двери.

Так и начали они жить вместе: никакими официальными узами не связанные, но фактически мужем и женой. Наверное, их любовный союз с юридической точки зрения являлся просто сожительством, но Ксения с Виктором было тогда совсем не до определения своего «статуса». Их захлестнул с головой вал страсти. Они с упоением отдавались друг другу, друг в друге растворяясь. И ничто, казалось, не могло омрачить их сладостного любовного помешательства. Разве что бабка...

Она-то как раз и стала той самой ложкой дегтя, которая портит бочку меда. Старуха то и дело возникала перед ними в самый неподходящий момент, что-то бормоча и пришептывая, буравя Виктора ненавидящим взглядом, от которого он невольно ежился и спешил скрыться с глаз долой. Но она снова и для него всегда почему-то неожиданно возникала в другом месте. Ее свистящее змеиное пришептывание преследовало его даже на работе. Случалось, что и ночью она давала знать о себе. Уже почти достигнув любовного экстаза, Виктор в тишине ночной слышал вдруг за дверью их комнатушки непримиримый бабкин голос:

– И порются, и порются... Как кролики, ей бо! Скоро сетку на кровати порвут.

И Виктор, которому до вождленного пика страсти оставалось всего несколько движений, при этих словах, как альпинист, потерявший точку опоры, обрушивался вниз. Ксения прыскала в кулак, возмущенно, хотя и не зло, кричала старухе, чтобы не подслушивала и гнала прочь. А Виктор как тот покалеченный альпинист долго еще не мог прийти в себя и начать новое восхождение.

Бабка, в конце концов, его достала. Виктор снял комнату, и они от бабки съехали. Виктор вздохнул свободно. Теперь, когда старая кроряга уже не путалась в ногах, их совместное житье-бытье, верилось ему, станет совершенно безоблачным и солнечным, а любовный огонь никогда не угаснет.

Много позже Виктор Павлович в стихотворении одной поэтессы наткнулся на такие строки: «Нас греют только первые костры. Последние – сжигают нас дотла». И поразился тому, насколько это верно. И пожалел, что никто не сказал ему ничего подобного тогда, когда их с Ксенией костер еще только вспыхнул.

– ...По молодости так часто случается, – продолжал мять пальцами пустой пластмассовый стаканчик Виктор Павлович. – Встретились, очертя голову бросились в объятия друг другу, а потом так же быстренько и безоглядно разбежались. Сначала ослепляет вспышка любовной молнии, в свете которой кажется, что вы теперь сплавлены воедино навсегда, а уже чуть погодя вослед сполоху – громовой раскат сомнения: а нужны ли вы друг другу вообще, готовы ли, что бы ни случилось, идти в одной связке... – Стаканчик выскользнул из его пальцев, покатился по столу. – Не сочти, Виктор, за старческое брюзжание в адрес молодых. Я это о себе говорю – о том из далекого прошлого балбесе, убежденном, что вся жизнь еще впе-

реди и не надо спешить обременять себя разными там узам. Н-да...

Виктор Павлович замолк, снова ушел в себя...

Неужели и в самом деле это было только вспышкой, «солнечным ударом», помутившим их обоих? Но почему избирательная память не похоронила ту вспышку в своих глубинах как нечто случайное, не имеющее продолжения, а, наоборот, время от времени напоминает ему о тех днях, заставляя сжиматься сердце? Бог весть!

А тогда...

Жаркий костер их любви с искрами до неба полыхал недолго. На удивление быстро они насытились друг другом. Уже и постель все меньше сближала их. Даже наоборот, все чаще становилась причиной новых ссор.

Хотя чему тут удивляться, усмехнулся Виктор Павлович: сладкое без меры очень даже быстро оскомину набивает. С насыщением улетучивался любовный дурман, спадала розовая пелена. Взор очищался, становясь четче, контрастней, и то, что еще совсем недавно едва проступало где-то там, у горизонта, сейчас вдруг оказывалось перед самыми глазами во всем своем реально-конкретном бытовом черно-белом существе, и те мелочи-пустяки, которые оба они в любовном угаре просто не замечали, стали все заметнее и раздражающе напоминать о себе.

И обнаруживалось, что у каждого из них свои привычки, вкусы, свое понимание совместной жизни. И свой характер.

Они были разные. Ухоженный мальчик из интеллигентной семьи, где все вращалось вокруг него, а он привык принимать это как должное. И пролетарских корней девочка, рано лишившаяся отца и до срока ставшая самостоятельной.

Этой своей самостоятельностью Ксения ему и докучала больше всего. Она не выносила малейшего беспорядка. Каждый день мыла полы, посуда у нее блестела, все у нее было разложено по полочкам, знало свое место. Того же она и от него требовала.

Надо было подлаживаться друг к другу, учиться им, таким разным, жить вместе, отыскивая точки соприкосновения. Но это требовало немалого труда. Долгого, утомительного. А терпения не хватало. Да и особого желания, видимо, – тоже. Проще было все объяснить и утешиться спасительной мыслью, что, наверное, они просто не созданы друг для друга и с этим ничего не поделаешь.

Так и продолжали жить «задержкой» с «неспустихой». При этом Ксения становилась с каждым днем все раздражительней, срываясь часто по сущим пустякам.

А когда он, пытаясь понять причину этого, набрался решимости и прямо спросил Ксению однажды, что с ней происходит, услышал в ответ, что она – беременна. Это было для него громом среди ясного неба...

– Наверное, вы правы, – услышал Виктор Павлович голос попутчика, снова выплывая на поверхность реальности из глубин памяти. – Мы тоже вот с Маринкой... Ну, живем мы с ней. Гражданская типа жена моя... Все, как вы говорите, и у нас было. Молния, потом гром... А дальше и вовсе не жизнь пошла, а нудный обложной дождик. Особенно когда забеременела. Все что-то ей не так. А уж если, не дай бог, где-то с друзьями посидишь, выпьешь, тогда и вовсе – тушите свет!

– Так она что у тебя – беременная?

– Маринка-то? Ну, да. Уже и срок порядочный.

– А ты, значит, к маме? От беременной зануды подальше, – с неожиданным вдруг сарказмом сказал Виктор Павлович.

Виктор смешался, опустил глаза.

– Так достала она меня...

– Из-за пьянки, что ли?

– Ну, что вы, – махнул рукой Виктор. – Приходил разок-другой выпивши. С корпоративов. А так я вообще-то не злоупотребляю.

– Понятно, – вздохнул Виктор Павлович и спросил: – А объясниться пытались? К консенсусу, так сказать придти?

– Да в последнее время только и делали, что отношения выясняли.

Виктор замолчал, задумался...

Выясняли... А тема в основном одна была: любишь – не любишь... Но сначала, когда стали жить вместе (буквально через несколько дней после знакомства Виктор привел Марину к себе домой), такого вопроса не возникало. Только «любишь» – без вариантов! Сомнения пришли позже, когда стали привыкать друг к другу. Тут и выяснилось, что жизнь совместная у них вроде бы и одна, но смотрят они на нее и воспринимают каждый по-своему.

Виктору почему-то казалось, что любовь с ее пылкой, а то и вулканической страстью – это одно, а вся остальная жизнь с работой, коллегами, товарищами, бытовыми проблемами, наконец, – другое, нечто отдельное, как бы за скобками любовных отношений. С другой же стороны, и сами эти отношения, полагал Виктор, не должны касаться обыденности и бытовухи, должны концентрироваться внутри себя и сосредотачиваться на самих себе, быть «вещью в себе».

Марина же, вопреки этому доморощенному экзистенциализму Виктора, любовь не выделяла, не обособляла, не

делала из нее «искусства для искусства», а воспринимала ее неотделимой частью жизни – той многоликой, многообразной, многокрасочной, реальной жизни, которой сама она жила здесь и сейчас и принимала такой, какая она есть. Наверное, не доставало ей романтизма. В отличие от Виктора, который любил время от времени воспарить над бренной землей в мечтательные выси, Марина от земли не отрывалась.

– Сделай то, сделай другое... – опять заговорил Виктор. – Иду с работы домой – звонит: купи по дороге хлеба, того, сего... Почему бы самой не купить? Не дай бог, после работы в паб заверну пивка попить – выволочка: думаешь только о себе, про меня наплевать... Ну, и так далее, в том же духе – каждый божий день. А как забеременела, так вообще «резьбу сорвало». Только и разговоров, что о будущем ребенке. Еще не родился, а уже целый склад детских вещей. Свет клином на нем сошелся. А я уже на десятом плане. Меня к себе вообще лишний раз подпускать перестала. О прежней любви одно воспоминание осталось...

– Н-да, обычное дело: любовная лодка разбилась о быт, – усмехнулся Виктор Павлович.

– Как вы сказали? – переспросил Виктор. – Разбилась о быт?

– Да это не я сказал – поэт Маяковский когда-то. Но так часто и бывает. Быт – река опасная. Поэтическо-романтической любовной лодке о ее пороги разбиться запросто. Поэтому плыть по ней, полагаясь на волю волн, чревато. Лодкой надо управлять. Хорошо управлять, искусно. Только далеко не каждый это может. Вот и бьются «любовные лодки», и тонут, так сказать, в пучинах быта...

Когда-то, подумалось Виктору Павловичу, он тоже со своей «лодкой» не сумел справиться. Впрочем, не сильно-то, наверное, и старался.

Сойдясь с Ксенией, он тогда не задумывался о дальнейших перспективах их связи. Тем более о том, что жаркий костер любви надо было превращать в ровно и надежно греющий семейный очаг. Только-только окунувшись в стихию самостоятельной жизни, он не помышлял ни о каком семейном очаге. И уж тем более не мог, да и не пытался, представить себя отцом ребенка. То есть предетически признавал, что рано или поздно это, видимо, должно случиться. Но случится, надеялся, в неблизком пока будущем. А, стало быть, зачем заранее становится рабом семейных уз. Он не был готов ни к чему такому, не испытывал к тому потребности,

и когда смутное далекое «завтра» вдруг начало стремительно превращаться в конкретное реальное «сегодня», испугался, запаниковал.

Как они будут жить со всеми этими пеленками-распашонками без собственной крыши над головой, нормального материального достатка, сами еще толком не встав на ноги? Ксении же вот еще институт надо закончить... Но Ксения к его увещеваниям, показалось ему, отнеслась как-то слишком легкомысленно. Дескать, ничего страшного, они оба молодые, есть силы и здоровье, преодолеют трудности... А когда он предложил избавиться от будущего ребенка и пожить пока для себя, пришла в ярость – кричала, что лучше убьет себя, что и ему тогда лучше не жить.

Он отступился. Но трещина разлада начала стремительно расти, с треском разрывая ткань их отношений. Домой вечерами уже не хотелось, и он стал «задерживаться» на работе, хотя не так еще давно едва досиживал до конца смены в предвкушении новой встречи со своей «прекрасной Ксенией», как он ее называл. В выходные томился от вынужденного пребывания в одном помещении с Ксенией. Он смотрел, как все заметнее растет и округляется ее живот, как она дурнеет лицом, и его охватывало уныние. Иногда они выходили погулять. Ксения брала его под руку, приваливаясь к его плечу. Он чувствовал, какая она становится тяжелой, и ему это было почему-то неприятно. Казалось, что прохожие кто с подозрением, а кто с насмешкой косятся на них, и он невольно убыстрял шаг, вызывая протест Ксении: «Куда ты мчишься, я не собираюсь за тобой бежать!» Ей не хотелось сидеть дома, и она тащила его то в кино, а то и в театр. Он молча подчинялся, хотя испытывал настоящие муки, оказываясь рядом с нею в свете яркого освещения при большом скоплении народа, и с нетерпением ждал, когда в зале погаснет свет.

Ксения – не слепая же! – конечно, видела, чувствовала, что он тяготится ею, оттого злилась еще сильнее, устраивала сцены, доходящие до истерик, и теперь уже сама требовала объяснений. А он и рад бы, но не знал, как это лучше сделать, какие слова найти. Да, откровенно говоря, и не понимал отчетливо, что происходит в последнее время с ним, с ними, во что превращается их любовь.

А ведь, не смотря ни на что, он продолжал любить Ксению. И все было бы замечательно, если бы не этот некстати возникший и чуть ли не на глазах увеличивающийся живот, если бы все вернулось на круги своя, когда они любили только друг друга и никого больше вокруг для них не существовало... Но теперь-то как раз

уже и «существовало», и с этим приходилось считаться. Во всяком случае, Ксения требовала считаться. И не просто требовала, а делала это главным смыслом их теперешней жизни, чем еще сильнее выводила из душевного равновесия.

– Значит, говоришь, у Марины твоей свет клином на еще не родившемся ребенке сошелся?

– Ну да, – вздохнул Виктор. – А когда спрашивал – ну, и кто теперь кого любит – не любит? – обижалась. Говорила: как ты можешь сравнивать? Ты, говорит, теперь меня вдвойне должен любить. Нормально, да!

– Что ж, знакомо... И я думаю, что в этом своем ожидании будущего ребенка – все женщины одинаковы. Основной инстинкт движет ими в это время.

– Инстинкт?

– Да. Материнский инстинкт, инстинкт продолжения рода. Нам, мужикам, не всегда удается это вовремя распознать, проникнуться, – сказал Виктор Павлович и спросил: – А ты сам-то как к своей будущей роли отца относишься?

– Уже, получается, никак, – невесело усмехнулся Виктор. – Роль у меня отобрали.

– А до тех пор?

– В общем-то, нормально. Дело естественное. Конечно, неплохо было бы повременить пока, но раз уж случилось... Не я первый – не я последний.

«Вот так!.. С философским спокойствием воспринимает, как данность человеческой природы», – с удивлением и уважением подумал Виктор Павлович. И невольной обидой. На себя – того, прежнего, растерявшегося до гнетущего испуга в подобной же ситуации.

– Я понимаю, что дети многое в жизни меняют, – продолжал Виктор. – И я бы, наверное, тоже проникнулся, по другому стал относиться... Но не успел. Пиковая дама уже сузила глазки...

– Что? – не понял Виктор Павлович.

– Да это я так, стишок один вспомнил: «Пиковая дама сузит глазки – жизнь пойдет, как поезд, под откос...» В общем, не успел...

...Остаток ночи Виктор провел у Пашки в общежитии. Ворочаясь на надувном матрасе, брошенном прямо на пол, он долго не мог уснуть, переживая, что его так беспардонно, на глазах приятеля не пустили в собственную квартиру. «Ладно, – думал он, засыпая, утром разберемся...».

– Ну, и как спалось в чужих стенах? – спросила его Марина с холодной издевкой по возвращении.

И эти слова, и тон, каким они были сказаны, Виктора прямо-таки взбесили. Он шел поговорить по душам. Собираясь, конечно, донести до Марины обиду за вчерашний прием, но в итоге рассчитывал помириться. И тут прямо с порога, будто ледяной водой окатили. Или пощечину влепили. Покорно подставлять другую щеку ради примирения Виктор не собирался.

– А как тебе без меня – в моих стенах? – в тон Марине ответил он.

Марина вспыхнула, закусил губу. На ее глазах показались слезы. Слова Виктора попали в цель. Он знал, что это было уязвимым местом Марины.

Она давно не ладила со своими родителями. Особенно с отчимом, самодурствующего пошиба мужиком. Сама девушка с характером, она не хотела прогибаться под ним, уступать его властолюбию, как ее мать. Так что нашла у них коса на камень. Только искры летели!

Встреча с Виктором оказалась для Марины, помимо вспышки неожиданно нагрянувшей любви, еще и настоящим спасением от деспотизма отчима. У Виктора, в его квартире, она была счастлива не только от любви, но и от той свободы, какую не испытывала едва ли не с детства, до тех пор, пока не разошлись отец с матерью. Марина успела привыкнуть к этим стенам и считать их чуть ли не родными, и о возвращении в родительские пенаты даже думать не хотела. О чем и Виктору признавалась.

И этот его прозрачный намек на то, кто в доме хозяин, больно ранил Марину.

– Хорошо, – сказала она, справившись с собой, – я не стану тебя долго обременять...

– Что, домой вернешься? – сказал Виктор, заранее зная, что уж этого точно не будет.

– Да какая тебе разница? – огрызнулась Марина. – Найду, где голову приклонить.

Виктор с сомнением посмотрел на ее живот. Марина перехватила его взгляд, сказал:

– Заодно и от этого тебя избавлю. Чтобы ничего тебе обо мне не напоминало. Будешь приводить сюда, кого за благорассудится. Ты ведь давно этого хотел?

Лучше бы Марина этого не говорила. Чего-чего, а повода усомниться в своей верности Виктор не давал. Его заколотило от явной, а потому и еще более обидной несправедливости. Он заметался по комнате, доставая дорожную сумку, швыряя в нее свои вещи, туалетные принадлежности, документы... «Пропади ты пропадом!.. – пульсировало у него в висках. – Сам уйду, уеду... Будем считать, что ты

меня из моего же собственного дома выгнала...»

Марина молча наблюдала за ним. Виктор, закончив сборы, направился к выходу. Уже переступая порог, бросил, полуобернувшись:

– Я сам уйду. А ты – живи! Надеюсь, без меня тебе будет лучше.

И услышал вослед уничижающее:

– Бежишь? Трус и предатель! И не любил ты меня никогда. Только картину гнал!..

Виктор дернулся, как от удара хлыстом. Надо было бы, наверное, остановиться, ответить, и самый, пожалуй, подходящий момент был для того, чтобы отыграть все назад, а потом и добиться мировой. Но он уже закусил удила, и путей к отступлению не видел...

– ...Понимаю, – сказал Виктор Павлович. – Я вот тоже когда-то «не успел». Ни понять, ни удержать. Однажды с работы вернулся – а Ксении нет. Только записка на столе: больше так не могу, прощай, не ищи ...

...А накануне они очередной раз поспорились. Ксения стала допытываться, как бы он хотел назвать будущего ребенка. На что Виктор хмуро ответил, что никак, да и вообще рано ему пока об этом думать. «Смотри, – с какой-то непонятной ему угрозой сказала Ксения, – как бы поздно потом не было». Виктор недоуменно посмотрел на нее и услышал: «Ты можешь остаться без нас обоих. Если расстанемся, то не увидишь больше ни меня, ни его, – положила она руку на живот. – Никогда».

Особого значения этим словам он не придавал, а потому не бросился искать Ксению по горячим следам. Да и уверен был, что дальше бабкиной хибары в Каменных трущобах не уйдет. Пусть, подумал, пропихуется, остынет, а там, надеялся, само собой все и рассосется. Но ошибся.

Он тщетно прождал возвращения Ксении несколько дней, а потом отправился к бабке. По дороге думал, как и что надо ему сказать, чтобы восстановить отношения. Вот и знакомый тупичок, засыпуха, полузасыпанная сугробами грязного снега. Он постучал в дверь. Услышал бабкино скрипучее «кто там?», откликнулся. Долго не открывали. Наконец впустили.

– Чего пришел? – неприязненно спросила бабка.

– Да я... Ксению можно?

– Как это – можно? – с подозрением поглядела на него старуха.

– Ну, она у вас?

– А чегой-то у меня? Ты ж ее, охальник, увел, а теперь спрашиваешь? Это я

тебя буду спрашивать: где она, куда ты дел мою девочку?

Бабка стала грозно надвигаться на него.

– Поругались мы, – вынужден был признаться Виктор. – Она и ушла. Я думал – сюда.

– И молодец, что ушла! Неча ей с тобой делать, – похвалила внучку бабка, но Виктору категорически заявила: – Только у меня ее не было.

– А где она тогда – не знаете?

– А и знала бы – не сказала! – отрезала бабка, тесня его к выходу.

Он выбирался наверх к Центральному парку и растерянно соображал, где ж ему теперь Ксению искать. Вспомнил, говорила она что-то о матери, уехавшей на Дальний Восток к сестре. Но искать человека на такой огромной территории еще бессмысленней, чем иголку в стогу сена. А спросить Ксению, в какой именно город или поселок уехала ее мать, не удосужился. Да и ни к чему это ему было.

Конечно, он переживал сначала. Сильно переживал. Места себе не находил. Но как-то быстро успокоился и даже облегчение почувствовал, что кончилось все для него без всяких последствий. Если не считать потерянной любви. Ну, так ведь и та, успокаивал себя, уже угасала и остывала. А впереди еще – большая и, надеялся он, лучшая часть жизни.

– Давно это у вас было – поинтересовался Виктор.

– Да уж больше тридцати лет... Тридцать два года назад, если точно, – чуть помедлив, ответил Виктор Павлович.

– Мне в этом году тоже тридцать два исполняется, – сказал вдруг Виктор.

Виктор Павлович вскинул голову и наткнулся на его пристальный взгляд. «Неужели?...» – снова вспыхнул в мозгу вопрос, не дававший ему покоя с тех пор, как увидел он этого парня.

– А отец твой... – заговорил Виктор Павлович, но Виктор нетерпеливо и с заметным раздражением, словно вопрос был ему неприятен, перебил:

– Да не видел я его никогда. Мать ничего не рассказывала, но похоже бросил он ее, когда меня еще и на свете не было. А замуж больше не выходила. Так что, получается, безотцовщина я, – сказал Виктор, не отводя упорного взгляда, от которого Виктору Павловичу становилось все более не по себе.

– И даже фото его не видел?

– Нет.

– Ну а мама...

– Что мама?

– Ты на нее похож?

– Думаю, да. Хотя...

Виктор вспомнил, как однажды, когда было ему уже лет пятнадцать, она, глядя на сына, воскликнула в каком-то раздраженном удивлении: «Господи, как ты на своего родителя становишься похож! И обличьем, и даже повадками...»

Виктор запустил руку во внутренний карман ветровки, достал портмоне, извлек из него небольшого размера фотографию, протянул Виктору Павловичу:

– Вот. Перед отъездом в Хабаровск снимал.

Виктор Павлович осторожно, словно боясь разбить некий драгоценный сосуд, взял фотографию. И вздрогнул. С нее смотрела на него немолодая, но очень привлекательная своей зрелой осенней красотой женщина. Смотрела, чуть улыбаясь краешками губ, полными густой синевы большими глазами. Ушло из них прежнее молодое радостное сияние, которое сразило когда-то Виктора Павловича, но это была она, Ксения. Без всяких сомнений. Время, конечно, наложило на нее свой отпечаток, «отретушировало» в соответствии с возрастом, но все равно Виктор Павлович сразу узнал ее.

– Хороша! – сказал он, возвращая фотографию. И добавил едва слышно: – Даже еще лучше, чем в молодости.

– В молодости? – переспросил Виктор.

– В молодости, говорю, еще лучше, наверное, была, – поспешил выкрутиться Виктор Павлович и предложил: – А не выпить ли нам за нее!

– Давайте, – согласился Виктор.

– За Ксению Николаевну... Как ее фамилия?... Что б уж, как говорится, полным титулом...

– Савина, – сказал Виктор и снова уперся в Виктора Павловича взглядом.

Виктор Павлович поднял стакан и почувствовал, как предательски дрожит от волнения его рука. Он боялся, что расплещет содержимое. Справившись, все-таки, с собою, выпил. И даже не почувствовал на сей раз никакого вкуса. Словно отшибло соответствующие рецепторы.

Да, это была она. Он опять увидел ее... тридцать два года спустя. Пусть хотя бы на фото.

«И что ж тогда получается?... – спросил себя Виктор Павлович, прислушиваясь к гулким учащенным ударам своего сердца. – Получается, что этот парень... мой сын?»

Словно пытаясь окончательно убедиться в том, он еще раз исподлобья взглянул на Виктора. И снова, будто в волшебном зеркале времени увидел себя молодого и так удивительно похожего на сидящего напротив попутчика.

«Вон и лоб, и нос, и подбородок его, и даже родинка на левой щеке... А голубые

глаза и линия рта, казавшаяся ему когда-то крыльями вспорхнувшей птички, ее, Ксении...»

Сомнений больше не оставалось – сын! Его сын, которого он никогда раньше не видел...

Сделанное открытие Виктора Павловича оглушило и... обескуражило. Он был в растерянности. Что теперь ему делать, как себя вести? Сию же минуту открыться, признаться, что он отец этого молодого человека, заключить его в радостных объятиях?

А поверит ли ему Виктор. Мало ли что этому старперу после выпитого поблазнилось? Ну, есть какие-то совпадения, сходство. А фото Ксении? И что? Оно только ему, Виктору Павловичу, о чем-то говорит и заставляет вспомнить. А для Виктора на нем всего-навсего его мать, и никакие другие ассоциации это фото вряд ли ему навеивает.

Но даже если и поверит... Как и о чем им говорить? Готов ли сам-то он, Виктор Павлович, вообще к этому разговору?

Да откуда такой готовности взяться? Ребенка своего он даже увидеть не успел, а тем более прикипеть к нему, почувствовать себя отцом. И если б не сегодняшняя совершенно случайная встреча, то и не подозревал бы о существовании, взрослого уже, сына.

Ксения (из большой гордости, наверное) ничего о нем не сообщала. Как пропала тогда бесследно, так и всё. Ни с алиментами не докучала, ни с чем. Словно взяла и вычеркнула его напрочь из своей жизни.

У Виктора Павловича сперло дыхание. Он потер ладонью шею. И опять наткнулся на вопрошающий взгляд попутчика. О чем спрашивали его глаза? Требовали открыться, признаться, покаяться, наконец? Наверное, так и следовало бы поступить. Сделать хотя бы шаг навстречу. А там уж – будь, что будет!.. Но не хватало Виктору Павловичу ни решимости, ни мужества. Да и уверенности в том, что это необходимо.

Противостояние их взглядов продолжалось всего несколько мгновений. Виктор Павлович первым увел глаза в сторону. Виктор вздохнул и тоже отвернулся к окну. Виктору Павловичу показалось, что и он в смятении и не знает, как быть дальше. Недавняя непринужденность их общения улетучилась, словно от внезапного порыва ветра, и ощутимо потянуло знобким сквозняком. И чтобы прервать затянувшееся молчание, Виктор Павлович спросил:

– Ну, как она? – не уточняя, кто именно.

– Нормально, – отчужденно откликнулся Виктор, так же ничего не уточняя, будто несколько не сомневался, о ком идет речь.

Да, видно по всему, действительно не сомневался.

Пуститься в дальнейшие расспросы Виктор Павлович не рискнул, хотя и страшно хотелось.

За вагонным окном стемнело. Неярким светом засветился плафон на потолке. Поезд, как слаломист, петлял между невидимых сейчас сопок. Колеса пели на поворотах тягучим альтом.

«Может быть, как-то выведать у него ее адрес?» – подумал Виктор Павлович. Но тогда придется, все-таки, открыться. И вовсе не факт, что Виктор будет в восторге от их с Ксенией будущей встречи. Да и сам он...

Виктор Павлович попытался представить, как появляется он на пороге квартиры Ксении... Николаевны, как смотрит она с недоумением на пожилого незнакомца с седым бобриком, его не узнавая... Но даже если и узнавая... Что скажет она ему через тридцать с лишним лет, когда между ними пролегла непреодолимой уже, пожалуй, пропасть целая жизнь друг без друга? Ошиблись дверью, скажет? Или просто молча захлопнет ее перед носом? Кто он теперь для нее? Давным-давно никто.

«Но ведь замуж-то она больше не вышла! – с робкой надеждой вспомнил Виктор Павлович слова Виктора. – Вот и сына назвала...», – уцепился он за эту мысль, как за соломинку, пусть хоть и зыбкий очень (мало ли было причин дать такое имя), аргумент.

– Тебе нравятся наше с тобой имя? – вдруг вырвалось у него.

От этого «наше с тобой» Виктор вздрогнул и вспомнил, как однажды еще мальчишкой спросил мать, почему она назвала его Виктором. «В переводе на русский Виктор – победитель. Я и хотела, чтобы с этим именем у тебя в жизни больше было побед», – объяснила она. «А отца моего тоже Виктором звали?» – озаренный внезапной догадкой, спросил он. «Ага, – криво усмехнулась мать, – тоже... – И презрительно добавила: – Тот еще «победитель!..»

– Виктор Павлович, а ваша семейная жизнь потом как сложилась? – спросил Виктор.

– Да, собственно говоря, никак. Женщины были, но ничего серьезного слепить не удавалось. Что-то все время мешало...

– Она? – вскинул голову Виктор.

– Не знаю, – неопределенно пожал плечами Виктор Павлович, а про себя подумал: «Кто же еще?»

Именно ее образ возникал в сознании,

когда отношения с очередной пассией выходили за грань ни к чему не обязывающей любовной связи и вставал вопрос выбора: дальше по жизни с ней, или без нее. Вот тогда и проступал откуда-то из потаенных глубин призрачно-белый бесплотный образ-привидение Ксении. Чуть улыбаясь краешками губ загадочной улыбкой Моны Лизы, она слегка покачивала головой, и Виктору Павловичу казалось, что Ксения говорит «нет» очередной его претендентке, и это «нет» он расценивал как приговор, окончательный и бесповоротный, который должен быть немедленно приведен в исполнение. И он сразу же прерывал дальнейшие отношения. В следующий раз, когда появлялась новая страждущая загнать его в семейное стойло, все повторялось в точности. Это было какое-то наваждение, мистика, но ничего Виктор Павлович поделывать не мог. Это было выше него.

– Наверное, вы продолжали ее любить? – тихо и со значением сказал Виктор.

Виктор Павлович промолчал, а про себя подумал, что если и так, то любовь его долгие годы находилась как бы в анабиозе до лучших времен. И это время пришло?..

И острое желание увидеть Ксению пронзило его, как электрическим током. И опять он увидел себя на пороге ее хабаровской квартиры. Да не одного, а вместе с Виктором – сыном. Представил, как расширятся от удивления глаза Ксении, когда увидит их вдвоем... И никак не мог представить себе, что будет дальше. Наверное, потому, что эта его фантазия была настолько нереальной, беспочвенной, что и воображения чем-то закончить, закруглить ее Виктору Павловичу не хватало.

– Любил – не любил... Какое теперь это имеет значение? – откликнулся все же Виктор Павлович. – Как пели во времена моей студенческой юности: «Прошлое не воротится, и не поможет слеза...». А уж слеза слишком позднего раскаяния – тем более.

– Но, наверное, уж лучше поздно, чем никогда?

– Ты это к чему? – взволнованно встретился Виктор Павлович, и в глазах его вспыхнула надежда.

– Да так... – смутился Виктор и отвел глаза.

Взгляд Виктора Павловича потух, и во всем его облике было такое разочарование, какое постигает рыбака, с крючка которого только что сорвалась желанная рыба.

– Лучше поздно... – пробормотал Виктор Павлович. – Может быть, и так. Только я все-таки думаю, что чем раньше, тем

лучше. Время имеет свойство остужать и выветривать. Особенно чувства. Поэтому... – Виктор Павлович запнулся и неожиданно для самого себя торопливо, словно боясь, что Виктор не захочет его слушать, заговорил: – Возвращайся-ка ты, Витя, назад, к своей Марине, пока все у вас еще в полный накал и не начало гаснуть!.. Мы сейчас к Могоче подъезжаем. Здесь и сойди. Прерви путешествие, вернись!.. Вы помиритесь, обязательно помиритесь! Родится ребенок и у вас будет замечательная крепкая семья... Какой никогда не было и уже не будет у меня... Не повторяй ошибок старших... Не губи любовь свою из-за глупых мелочных обид, как я когда-то. Возвращайся...

Виктор жадно внимал Виктору Павловичу, глядя на него во все глаза. И без труда, словно находились они на одной волне, улавливал подспудный смысл его слов. Ведь на самом деле Виктору тоже ох как не хотелось повторять судьбу Виктора Павловича и самого себя заранее лишая отцовства, а будущего ребенка делать сиротой при живом родителе. Поэтому, казалось, он только и ждал этих слов. Как сигнала для возвращения на круги своя. Как шлагбаума, перекрывающего ему путь дальнейшего бегства.

– Через пять минут станция, – напомнил Виктор Павлович. – Поспешите...

Виктор вскочил, чуть не ударившись головой о верхнюю полку, начал лихорадочно сдирать с матраса, подушки, одеяла постельное белье, складывать пожитки в спортивную сумку.

А поезд уже пересчитывал станционные стрелки, импульсивными толчками замедлял ход.

Проводник открыл дверь, протер тряпкой поручни. Дохнуло вечерней прохладой, хвойной свежестью окрестной тайги, от шпал станционных путей потянуло креозотом.

Подхватив сумку, Виктор спустился по железным ступенькам вагона на перрон. Виктор Петрович вышел за ним.

– Вокзал там, – показал он. – Бери билет на любой поезд и...

– А вы?

– А я уж до конечного пункта своей командировки поеду – до Хабаровска.

– Так может... – глухо сказал Виктор, и Виктор Павлович окончательно для себя убедился в том, что и он бесповоротно признал их кровную родственную связь и теперь, по всему видно, не хочет, чтобы она, внезапно обнаружившись, снова не порвалась и не исчезла.

– Нет, – покачал головой Виктор Павлович, – это, пожалуй, ни к чему. Ушел мой поезд. Навсегда ушел. Безвозвратно. А вот ты свой постарайся не упустить. До-

гонять труднее. И не всегда, как видишь, удается. – У Виктора Павловича вдруг предательски запершило в горле. Прокашлявшись, сказал: – А у тебя есть все шансы склеить твой семейный сосуд...

«В отличие от меня», – подумалось следом Виктору Павловичу.

Ему много чего еще хотелось сказать напоследок только что обретенному и вновь теряемому сыну, но слова в его голове толпились и путались. И нужны ли они были вообще Виктору?

Вокзальный диктор объявил отправление. Они торопливо соединились в крепком горячем рукопожатии, впившись друг в друга прощальным взглядом. У Виктора Павловича заслезился глаза, и колючий горький комок застрял в горле. Призывно загудел локомотив. Состав дернулся и плавно двинулся с места. Руки их разъединились, и Виктор Павлович, догнав свою подножку, запрыгнул на ходу в вагон.

Виктор некоторое время махал ему вслед. Потом повернулся и зашагал к вокзалу.

– Прощай, сын, прощай, будь счастлив, сынок!.. – беззвучно шептал Виктор Павлович, глядя вслед удаляющемуся Виктору.

Он вернулся в пустое купе, потерянный и опустошенный, сел на свою полку, незряче уставился туда, где еще совсем недавно сидел Виктор.

«Надо было хотя бы обнять напоследок, – подумал он. – И адрес взять. Его, Виктора. Переписывался бы с сыном. Тем более что дедушкой скоро станет...»

И опять одолело его сомнение, а нужны ли вообще Виктору будут его письма? И что он может сказать в них сыну после своего молчания, длиною в целую его жизнь?

А так ли уж сильно виноват он сам в этом молчании? – подумалось с неожиданной обидой Виктору Павловичу. Не он же от Ксении сбежал, а она от него. И знать ничего не давала о родившемся сыне. И разве не она лишила его того счастливого момента, когда младенец хватает папин палец, заявляя свое безусловное право на отца?..

И все-таки острое чувство собственной вины, возникшее в нем, как только он понял, что Виктор его сын, не отпускало Виктора Павловича. Ее конкретной сути и величины он толком не представлял, но она застряла в нем костью в горле, сбивая дыхание, вселяя безотчетный страх и тоску.

Виктору Павловичу казалось, что Виктор был сегодня ниспослан ему свыше, как живой укор и напоминание о том, что цветение должно венчаться плодоношением. И в этом главный смысл бытия:

природы ли, человека. Об этом Виктор Павлович в пору их с Ксенией любовного цветения как-то не задумывался. Она же поняла это раньше него и надеялась, что поймет вслед за нею и он, и тогда... И тогда все могло пойти по-другому. То есть так, как и должно быть в нормальном семейном союзе, который с появлением детей обретает уже иное качество. Но он не понял, не осознал...

Он и сейчас смалодушничал – не открылся, не признался, спрятал голову в песок. Как тот младенец Виктор попытался «ухватить» его «палец», а он в испуге отпрянул и оборвал с нежданно обретенным сыном едва наметившуюся непрочную, как паутинка, ниточку родственной связи.

Виктор Павлович достал из сумки еще одну бутылку водки. Он всегда держал зачку на всякий пожарный. Налил в пластмассовый стаканчик чуть ли не до краев и, не отрываясь, выпил. Задумался, вспоминая, как жил все эти годы.

Как жил? Да так и жил – пустоцветом. И друзей настоящих не было – только знакомые да сослуживцы, и женщины в его холостяцкой квартире появлялись залетные и случайные, надолго не задерживаясь. Домой иной раз и возвращаться не хотелось, так одиноко и неприкаянно было. Спасала работа. Мотался по командировкам. Как специалиста его ценили, по службе он до поры до времени успешно продвигался. Через несколько лет работы уже руководил группой. Потом в Красноярске открыли новый филиал их проектного института и ему предложили там должность ГИПа (главного инженера проектов). В Новосибирске Виктора Павловича давно уже ничего не держало, и он без раздумий согласился.

Теперь вот движется потихоньку к заслуженному отдыху. Мог бы и выше подняться, но с годами уже и работа, такая поначалу интересная и романтическая, увлекала его все меньше, и карьера. Зато все больше хотелось покоя, домашнего тепла и уюта, внимания близких. А этого, как раз, не было и в помине.

Он старел в одиночестве и не питал никаких иллюзий относительно своего завтрашнего дня. Вспоминалось Виктору Павловичу, любившему почитать умную, хорошую книгу, попавшееся ему однажды на глаза изречение Сенеки: «Счастливей всех тот, кто без тревоги ждет завтрашнего дня». Соглашаясь с древним философом, сам он ждал завтрашнего дня с нарастающей тревогой, а в последнее время и страхом. Ибо знал, что там, на заслуженном отдыхе, ничего, кроме еще большего одиночества и пустоты, у него не будет.

Уже и сейчас, возвращаясь с работы в

свою квартиру, он испытывал жуткую подчас тоску. Она сдавливала грудь, щемила сердце, не давала уснуть. Он стал мучиться бессонницей. Чтобы ее одолеть, взял за привычку выпивать на сон грядущий водки или коньяку. Но помогало не всегда. Как и сегодня – не брала, проклятая!..

Владимир Павлович снова потянулся к бутылке.

«Спиваюсь...» – подумал он. Но вяло, безразлично, с какой-то предрешенностью и покорностью судьбе.

Плеснув в рот еще полстакана водки, Виктор Павлович поднес ладонь тыльной стороной к носу и, зажмурившись, шумно втянул в себя воздух. В таком положении он просидел несколько мгновений. И вдруг услышал, как кто-то отворяет дверь его купе. Открыв глаза, Виктор Павлович повернулся на звук и увидел в дверном проеме... белую женщину.

Она была в ослепительно белом одеянии, похожем на древнегреческий хитон. Глаза Виктора Павловича начинали затуманиваться, взор терять резкость и контрастность. Потому, наверное, и лица женщины разглядеть ему не удавалось.

Она перешагнула порог купе, задвинула за собой дверь и с укором покачала головой:

– Опять пьете, Виктор Павлович?!

Он виновато опустил голову. Он не знал, что это за женщина, но уже сам ее голос действовал на него гипнотически, вызывая страх и почтительный трепет одновременно. Нечто подобное ощущал он в далекие времена школьного детства, когда за тот или иной проступок отчитывала его первая учительница.

– Зачем только живет человек на свете? – сказала белая женщина, не известно к кому адресуясь своим вопросом. Но Виктор Павлович принял его на свой счет и еще ниже опустил голову. – И сам никто, и звать его никак, и никому не нужен, – продолжала она ледяным тоном, пробирающим до костей. – Семья не уберег, сына осиротил. Напрасно прожитая жизнь...

– Да, да, напрасно... – поспешно согласился Виктор Павлович, как набедокуривший школьник, который торопится покаяться и сказать сакраментальное «я больше не буду», и растерянно спросил: – Так что же мне теперь делать?

– Подумайте...

– Надо начать все сначала? Ну, конечно – сначала! – обрадовано воскликнул Виктор Павлович.

– И как вы это себе представляете, если, не открывшись сыну, сожгли за собой последние мосты? – нехорошо усмехнулась белая женщина. – Да и нельзя, как вы знаете, войти в одну и ту же реку дважды. Тем более что вы всю жизнь убегали

от ее истоков, а здесь, недалеко от устья, река жизни совсем иная.

– Тогда – что же?

– Тогда надо подвести черту под тем, что есть, – безжалостно резюмировала белая женщина и приказала: – Идите за мной!

Отодвинув дверь купе, она вышла в коридор. Виктор Павлович послушно последовал за ней.

Поезд раскачивался из стороны в сторону, словно шел не по рельсам, а по морю, которое начинало штормить. Виктора Павловича болтало в узком коридоре, било плечами о стены вагона. Краем глаза через распахнутую настежь дверь служебного купе Виктор Павлович увидел проводника, склонившегося над кроссвордом. Тот не обратил на него никакого внимания.

Вслед за белой женщиной Виктор Павлович вышел в рабочий тамбур.

– Открой! – показала она ему на входную дверь вагона.

Все так же послушно он взялся за ручку, потянул дверь на себя. Свежий воздух ворвался в тамбур, холодной волной окатил Виктора Павловича, слегка отрезвив его.

– Пора, – показала рукой белая женщина на темный зев дверного проема.

Бухало в груди сердце. Ему в унисон отстукивали колеса ритм извечной дорожной песни. И под этот ритм всплыли в затуманенном мозгу Виктора Павловича услышанные недавно от Виктора непонятные строки:

Пиковая дама сузит глазки –  
Жизнь пойдет, как поезд, под откос...

Белая женщина смотрела на него ожидающе.

– Ну, что же вы? Бойтесь... Не бойтесь. Вы сегодня много выпили. Под таким наркозом ничего не почувствуете. Всего один шаг, – сказала она, – и... Вы будете уже в другом измерении. А здесь мгновенно забудут, как будто и не было вас никогда. Забудут, потому что в память о себе ничего не оставили и вспомнить о вас будет нечего. Решайтесь же – ну! – возвысила она свой ледяной режущий голос.

Виктор Павлович увидел, как прищурились до узких прорезей ее глаза, и вздрогнул: «Так вот же она – пиковая дама! Собственной персоной!»

Виктор Павлович почти физически ощутил, как взгляд ее сузившихся глаз подталкивает его к черному проему.

«Жизнь пойдет, как поезд под откос...» – стучало и стучало у него в висках. Всего шаг в черную пустоту – и под откос!..

Он хотел оглянуться и не смог. Гипнотический взгляд белой женщины, обер-

нувшейся вдруг пиковой дамой, отсекал ему путь к отступлению. Невидимая жуткая сила потащила Виктора Павловича к самому краю тамбура, за которым началась «черная дыра» небытия, откуда уже не было возврата. Несколько мгновений он покачивался на этой зыбкой грани, пока не услышал за спиной короткое и резкое, как толчок в спину, «давай!», и сделал шаг из тамбура...

Насыпь была здесь высокая. Волны, снова подошедшего к ней вплотную Урюма, шурша крупным щебнем, облизывали ее бок. Выжить после падения шансов практически не оставалось. Да и выживи – места глухие, дикие...

Говорят, в краткие предсмертные миги перед человеком проходит вся его жизнь. Возможно. Но Виктор Павлович, пока упавшее тело его не стала уродовать щебенка насыпи, успел подумать только о том, а были ли они – и сын Виктор, и белая женщина – неожиданно возникшие и так же ушедшие за грань его жизни?

Да и была ли эта его жизнь вообще?..

Проводник оторвался от кроссворда, надел форменный китель, фуражку. Поезд подъезжал к Семиозерному. Проводник вышел в рабочий тамбур, увидел распахнутую дверь. Удивился: надо же – неужели забыл после Могочи замкнуть? Вот ее, наверное, ветром и распахнуло. Внимательнее надо быть, выговорил он самому себе.

После Семиозерного проводник замкнул входную вагонную дверь, подергал для проверки ручку. Потом прошелся по коридору вагона. Пассажиры отходили ко сну. Лишь в одном купе была открыта дверь. Проводник заглянул туда. Никого. Вспомнил: парень в Могоче вышел. А сосед его поехал дальше. Вот этого мужика сейчас и нет. Проводник оглядел застольный натюрморт с недопитой бутылкой водки в центре, удивился: надо же – так запросто оставляют на виду почти полбутылки. Осторожно выглянул из купе, поочередно глянул в оба конца коридора. Пусто. Взял бутылку, с наслаждением отхлебнул из нее чуть ли не половину содержимого, и поспешил из купе. Уже у себя в служебном проводник почувствовал, как растекается по телу водочное тепло, и удовлетворенно улыбнулся. Можно и самому часок-полтора до следующей станции вздремнуть.

Проводник снял китель, привалившись к стене, закрыл глаза. И уже в полудреме снова вспомнил про пустое купе и исчезнувшего мужика, столь безответственно оставившего на столе недопитую водку. Поди, знакомых в соседних вагонах нашел, теперь догоняет с ними. А может, и

пассажирку какую склеил, чтоб время скоротать. В пути все бывает... Сочтя свои предположения вполне резонными, проводник вскоре звучно похрапывал, вплетая звуки своей носоглотки в нескончаемую песню поезда...

## ПОДРУГИ

Анку-зенитчицу хоронили в разгар бабьего лета. Прозвище это прилепилось к Анне Николаевне Шумиловой, ветерану Великой Отечественной войны, с тех самых пор, когда вернулась она с фронта, где зенитчицей прослужила без малого два года, с сентября 1943-го и до самой Победы, закончив свой боевой путь под Будапештом.

Анна Николаевна ушла в мир иной последней из ветеранов Сосновского района, своей смертью как бы безвозвратно переворачивая его военную страницу. Хоронили ее на кладбище райцентра с почестями, прочувствованными речами, в присутствии районного и даже областного начальства, учителей и старшеклассников местной школы, офицеров дислоцированной неподалеку воинской части. Несколько солдат этой же части, подняв вверх автоматы, салютовали преданной земле Шумиловой тремя залпами.

А неделей раньше похоронили ветерана трудового фронта Маню-большую. На эту неделю как раз Мария Пахомовна Трошина по прозвищу Маня-большая была моложе Анки-зенитчицы. И «большой» окрестили ее, понятное дело, вовсе не по возрастному признаку. Просто рослой, крупной всегда она была с юных лет.

Маню-большую похоронили на заросшем березняком погосте поселка Залесово, где доживала она у младшего сына свою жизнь. Похороны прошли тихо, незаметно. Народ в поселке был сборный, съехавшийся сюда в разное время по разным причинам из разных весей. Кто-то обосновался здесь еще во времена ликвидации «неперспективных» деревень, кто-то появился уже в девяностые, когда деревни российские затрещали от нового, «перестроечного» уже, вала. Залесово повезло. Оно устояло оба раза, каждый раз впитывая в себя все новых поселенцев. Живя обособленно своей переселенческой волной, они обычно мало знали и интересовались теми, кто появился в селе не с ними вместе. Поэтому и смерть совершенно ничем не примечательной, преклонных лет женщины восприняли равнодушно – как дело сугубо семейное ее родственников.

О фронтовичке Шумиловой известно было, конечно, много больше, но тоже

не все. И уж совсем мало кто мог догадываться о существовании некоей связи, соединяющей судьбы этих двух, умерших почти одновременно, но в разных населенных пунктах женщин. А она, хоть и совершенно незримая многие годы, была...

\* \* \*

...Захар Егорович Плетнев вернулся из райцентра поздно вечером мрачнее тучи. А ведь ехал туда в приподнятом настроении. Дела в колхозе складывались неплохо. Уборка шла полным ходом. Благо и погода не препятствовала. Если не испортится, уложиться можно в срок, а то и раньше. По «повинностям» тоже в целом нормально. И по отработкам, и по сдаче сельхозпродукции. И по налогам – военному да сельхозналогу – задолженностей, можно сказать, нет. Немного похуже с самообложением – не шибко-то колхозники жаждут покупать эти пустые бумажки – облигации. Тем более что и без того разных поборов выше крыши. Но ничего, успокоил сам себя Захар Егорович, подтянемся. Война как-никак, понимать надо...

В райкоме его оптимизм разделили, призвали и дальше так держать, пообещали даже на районную Доску почета повесить. А пока попросили зайти в райвоенкомат – есть там для него новость.

Военкомат находился неподалеку, и через несколько минут Захар Егорович уже открывал кабинет военкома. И здесь председателя колхоза «Приобский коммунар» ждал жестокий сюрприз.

С военкомом, грузным седым подполковником, за время войны Захар Егорович встречался не раз. В основном по одному и тому же – мобилизационному – вопросу. Война, особенно на первых порах, требовала все новых солдат.

Несколько призывных волн прокатилось по Приобскому. И к середине войны маленькое когда-то село заметно поредело, опустело. Мужиков и вовсе едва четверть на все село осталось. Уже и сорокалетних прибрали. Везде теперь бабы ломили: и за себя, и за мужиков своих – у кого героически бьющих на фронте постылого врага, а у кого уже и навсегда отвоевавшихся, саваном смерти накрытых.

Захар Егорович тоже успел побывать в той мясорубке. Вообще-то по возрасту для призыва он тогда, в ноябре 1941-го, не подходил. Гораздо моложе ребят, чем он, тридцатишестилетний, брали. Но так уж получилось. Сам добровольцем напросился. Казалось ему, колхозному агроному, что без него война никак не может обойтись. В декабре сорок первого он в составе лыжного батальона сформированной в их сибирских краях дивизии оказался в Подмоскowie, неподалеку от

станции Дорохово. И в первые же дни жестоких боев понял, что война спокойно кладет на свой кровавый жертвенный алтарь тысячи таких, как он, и что некоторым из них и времени-то было отпущено всего на одну атаку, в которой они даже «ура» закричать подчас не успевали.

Плетневу повезло. Он продержался на передовой чуть больше недели и остался жив. Только попал на девятый день фронтовой жизни под минометный обстрел, получил осколочное ранение в ногу и контузию. Потом три с лишним месяца госпиталей и все – отвоёвался солдат, комиссован подчистую. Хромая теперь на правую ногу всю оставшуюся жизнь и слушай то усиливающийся, то стихающий, но никогда не затихающий звон в ушах. Даже заваливающей медальки на грудь Плетнев за свое короткое пребывание на передовой не схлопотал. Но он и не расстраивался. Жив остался – вот и награда, самая для него большая!

В родное Приобское возвращался Захар Егорович в начале апреля 1942 года. Навигация еще не началась, поэтому добираться от областного центра до своего села пришлось не кратчайшим водным путем, а на перекладных. Сначала на пригородной «передаче», потом до райцентра на грузотакси, а от него и вовсе на попутках по весенней распутице.

Дни стояли погожие. Солнце жадно съедало снег на полях, то тут, то там образуя черные дымящиеся проплешины оттаявшей земли. Машина петляла среди колков. Под колесами грузовика хлюпала полая вода и чавкала жидкая грязь. Плетнев полной грудью радостно вбирал в себя разнообразные запахи весеннего таяния и думал, что скоро, совсем скоро снег сойдет, солнышко подсушит и прогреет землю, и надо будет приниматься за пахоту, а потом и сев. И от этого предвкушения сладко щемило в груди.

Приобское встретило Плетнева траурной вестью. Село только что похоронило своего бессменного колхозного председателя Петра Ивановича Ситного. Он как возглавил десять лет назад только что образовавшийся колхоз «Приобский коммунар», так руководил им все это время. Наверное, продолжал бы и дальше, но подкосила мужика черная беда. Пришли в дом Ситного похоронки на двух его сыновей – Сергея да Дмитрия. Оба, погодки, были его надеждой и гордостью. Учились в институте, приехали в родительский дом на каникулы. Отсюда и в армию их призвали. А вскоре похоронки. Одна за другой... И сердце Петра Ивановича, сумевшее пережить многие тяжелые испытания, выпавшие на его деревню от войны Гражданской и до войны Отечественной,

на сей раз не выдержало – разорвал его в клочья обширный инфаркт от свалившегося в одночасье горя.

Без Ситного село тоже осиротело. Он и Приобское были неразделимы. А на носу пахота, сев и разная прочая сельская страда. Как тут без твердой хозяйской руки. Поэтому районное начальство приезд Плетнева искренне обрадовало. Уроженец здешних мест, комиссованный подчистую фронтовик, не один год проработавший под началом Ситного, член партии, он был самой подходящей кандидатурой на председательское место. С его появлением кадровый вопрос решался как бы сам собой.

Времени для раскочки не оставалось. Быстренько провели собрание колхозников. Захара Плетнева знали хорошо – свой, как-никак, Приобский. С Ситным и под Ситным работал хорошо, пусть теперь в свои руки колхозные вожди берет.

Так и стал Захар Плетнев председателем колхоза «Приобский коммунар» – Захаром Егоровичем. И как из огня да в полымя попал, брошенный в новые, теперь уже трудовые бои. И нет им счета, а ему передышки вот уже полтора года...

...Завидев входящего Плетнева, военком приподнялся из-за обшарпанного канцелярского стола, протянул руку для рукопожатия. Потом коротко вздохнул и через небольшую паузу подвинул Захару Егоровичу какую-то казенную бумагу:

– Вот, разрядка из области пришла. Из твоего колхоза надо человека. Как минимум...

– Как минимум... – эхом отозвался Плетнев. Да где ж я его возьму, этот минимум? – вскинулся он. – У меня и мужиков-то осталось – раз-два и обчелся, да и те калечные да увечные, к службе непригодные. Почитай, из всех уже сусеков война мужиков выгребла.

Военком поморщился, как от зубной боли:

– Знаю. Не хуже тебя. И не ты один такой. Только речь сейчас не о мужиках. О мужиках я бы с вами, председателями, и не разговаривал сейчас. Прислал бы повестку на Иванова, Петрова или Сидоров и – шабаш! В том-то и завышка, что не мужики... Девки нужны... Призывного возраста.

Плетнев охнул и мотнул головой:

– Уже и до баб, девок даже добрались. Кто ж тогда у нас тут останется? С кем работать будем, пока девки наши в пехоте?..

– Да хватит причитать, и без тебя тошно! И какая там пехота? Зенитчицами девки будут служить. Подразделение зенитчиц у нас в области формируется. Вот и собираем с бору по сосенке – с каждой деревни по одной ли, две. Да с пяток в

райцентре найдем. Так, глядишь, на взвод и наскребем, как требуют. Понял?

– А, хрен редьки не слаще – зенитчицы, пехотинцы! – махнул рукой Захар Егорович.

– Не скажи, – не согласился военком. – С винтовкой по полю под огнем бегать хуже, поди, будет. Сам знаешь. При зенитке-то куда больше шансов целым остаться. Так что... В общем, давай, Захар Егорович! Срок тебе – до послезавтра.

\* \* \*

Жена собрала Захару Егоровичу поест, а ему, несмотря на то, что целый день крошки во рту не было, кусок не лез в горло. Озадачил его военком, так озадачил.

Захар Егорович вяло похлебал щей, отложил ложку и, подперев голову кулаком, стал перебирать потенциальных кандидатов для очередной, но такой непохожей на прошлые, мобилизации. Сейчас он чувствовал себя в положении тех персонажей из сказки, которые вынуждены, чтобы задобрить кровожадного дракона, отдавать ему на закление каждую неделю нескольких девушек.

– Уже и до девок добрались... Что дальше-то будет?... За детей примемся?... – глухо бормотал Плетнев, даже не замечая, что говорит вслух.

– Что ты там бубнишь, Захар? – остановилась рядом жена. – Пришел какой-то смурной, бубнишь...

– А!.. – отмахнулся Захар Егорович и выложил ей все, как есть. От жены у него секретов не было.

– Господи, да что же это делается! – вскрикнула жена. – Мало того, что девки и так уже с четырнадцати-пятнадцати годов вместе со взрослыми бабами, как лошади ломят, так еще и...

– Не причитай! – совсем как военком его недавно, осадил Плетнев супругу. – Приказы не обсуждаются.

– Ну, и кому такое счастье привалит? – спросила жена.

– Буду думать.

Думал Захар Егорович всю ночь. Не спал, ворочался, вздыхал. Вставал с постели, дымил возле дверного косяка самокруткой, пил из бачка воду, снова ложился.

Призывного возраста девок в наличии на данный момент в деревне было только две: Аня Шумилова и Маша Жукова по прозвищу Маня-большая. Обeim по девятнадцать, и разница в возрасте между ними всего неделя.

Жили они по соседству, и были подружками с детства «не разлей вода». Смотрелись, правда, вместе диковато. Маня была на годолу выше подружки, здоровее.

К совершеннолетию ее тело налилось уже не женской силой, и даже мужики Маню побаивались. Аня на ее фоне смотрелась хрупкой тростиночкой, но характером отличалась крепким и потому верховодила в их дружеской связке, иной раз просто помыкая послушной, терпеливой и незлобивой Маней. Они и лицом различались как небо и земля. Пышноволосяя, кареглазая, с тонкими аккуратными чертами милостивая брюнетка Аня и простоволосая, с крупной лепки лицом, носом-картошкой и губами-варениками Маня.

Когда настала пора девчества, симпатичная, бойкая Шумилова и тут была на первых ролях – парни роились вокруг нее, а «коломенская верста» Маня лишь одиноко и уныло подпирала какую-нибудь березу по краю танцевального пятачка «тырла» на деревенских вечерках, любясь, как отплясывает под гармошку ее подружка с очередным парнишкой, по-таенно вздыхая, что ей это, наверное, и не светит.

Но потом началась война. Как-то быстро и незаметно вымела она с деревенских улиц почти всех молодых парней. Заглохли вечерки с заливистой гармошкой, стало подергиваться бурьяном утоптанное нескончаемой дробью молодых пяток «тырло». Девкам и молодым бабам танцевать друг с другом быстро надоело. Да и времени уже не доставало. Нескончаемая работа выкручивала тела, как старательная прачка белье, не оставляя ничего, кроме усталости.

И чем больше забирала война мужиков, тем больше наваливалось этой работы на женскую половину, которая к середине войны с полным на то основанием могла сказать о себе словами известной поговорки: «Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик».

Правда, относилось это скорее к Мане-большой, которая и скотника на ферме заменяла, и на лесосеке, если требовалось, вкалывала, и разную другую мужицкую работу делала.

Хрупкая Аня трудилась в основном в конторе, помогала председателю, будучи и за счетовода, и за учетчика, и за секретаря. Девка она была смышленная, в руках у нее все горело. Она освобождала Плетнева от бумажной волокиты и писанины, и уже за одно это он ее ценил.

...В общем, думал Захар Егорович, крепко думал. От дум этих разламывалась голова, и звон в ушах становился пронзительно-нестерпимым.

Конечно, солдат из Мани вышел бы, пожалуй, лучше не придумаешь. И здоровье, и силушка при ней – сама может за собой зенитку вместо лошади или полуторки волоочь. И командирские приказы

будет беспрекословно выполнять. Нюрка – та норовистой, уросливей, да и здоровышко, конечно спроть Маньки не то.

Имелось, однако, серьезное «но». Маня была четверной по счету, самой младшей и единственной девкой в семье Пахома Жукова. Самого его и всех троих, еще не успевших обзавестись семьями сыновей война уже забрала на свое ристалище. И сделала жертвами, давая о том знать стремительно пустующее семейное гнездо Жуковых ядовитыми стрелами похоронок. Совсем скоро Маня осталась одна с разбитой от горя матерью на руках. Отправить на фронт Маню? Но что станется, если слепой рок приберет там и ее? А то и станется, что закончится на ней, не успевшей ни полюбить, ни произвести потомство, род Жуковых – славных работающих людей, крестьян высшей пробы, без которых и жизнь-то в деревне трудно себе представить.

У Шумиловых тоже четверо детей, но все девки, и Аня старшая. Если и погибнет, не дай бог, все равно останется, кому род продолжить...

Только вот как он, Захар Плетнев, потом будет родне в глаза смотреть, ежели вдруг Нюрку убьют или покалечат? Не чужая, чать, – племянница, родной сестры дочь. В том и дело...

Потому и пухла у Захара Егоровича голова, и чувствовал он себя между молоотом и наковальной.

Чуть свет Плетнев уже был на ногах. Без аппетита похлебал вчерашних щей с полужасохшим ржаным ломтем. Стал натягивать сапоги, собираясь уходить.

– Чо надумал-то? – спросила жена, убирая посуду.

– Всяко крутил...

– Ну!..

– Вот и выходит по всему, что Нюрке жребий выпадает.

Жена охнула, опустила на табуретку, покачала головой:

– Ой, Захарушка, не сносить тебе тогда головы. Сеструха-то твоя, Катька, ни в жизнь этого не простит, смертным врагом станешь.

– А по другому мне люди и совесть не простят.

Плетнев, пригнув под притолокой голову, вышел. Через несколько шагов остановился в нерешительности. Идти в правление, а уж потом, когда все отправятся по своим рабочим местам, Катьку притормозить и поговорить, или пойти к ним прямо сейчас? Не любил он ничего откладывать на потом, но тут...

Ноги сами понесли его к правлению.

Колхозная контора уже сколько лет – с тех пор, как раскулачили Семена Выжинина – размещалась в его просторном

крестовом доме с большим навесом на резных балясинах над крыльцом, с перил которого до войны по утрам гроздьями свисали мужики, нещадно дымя самокрутками перед тем, как разойтись по рабочим местам. Здесь обсуждали международную обстановку, дела в стране, ну, и конечно, в родной деревне. Нет уже на свете многих из тех мужиков – повыбила война. А бабы только коротко, со всхлипом вздыхают, спускаясь с крыльца, вспоминая то каждодневное мужицкое «вече».

Плетнев толкнул входную дверь, переступил порог. Услышал, как гремит ведром Варвара, вечно хмурая бесцветная и без возраста баба. Она приходила раньше всех мыть полы. Увидев председателя, Варвара разогнулась, чтобы поздороваться, и снова взялась за тряпку.

Захар Егорович прошел в просторную комнату. Когда-то в хозяйском доме она была залой. Ныне сюда собирались по утрам на наряд. Здесь же при надобности Плетнев и правление собирал. В правом углу стоял у окна хоть и облезлый, но все еще крепкий канцелярский стол, которым обзавелся в свое время по какой-то оказии в райцентре Ситный. Здесь и был председательский уголок Плетнева. Сзади ему в затылок строго смотрел с портрета над головой товарищ Сталин. От его тяжелого сверлящего взгляда Плетневу всегда становилось не по себе, и он по возможности старался не задерживаться на своем, как иногда ему мнилось, лобном месте. Благо зоркий председательский глаз требовался во всех уголках колхозного хозяйства.

К письменному столу были придвинуты две табуретки – для посетителей, в первую очередь для заезжего начальства. Располагались они точно напротив портрета, и товарищ Сталин с сидящих на табуретках тоже не спускал суровых глаз. К стенам комнаты жались длинные некрашенные скамьи, отполированные сепалищами колхозников. На столе, кроме облупленной деревянной карандашницы с несколькими графитными огрызками, пусто, как на предзимнем поле, с которого свезли на ферму последнюю солому. Пусто, если не считать лавок, и в комнате. Обстановка, под стать самому вождю, сурово-аскетическая.

Плетнев тяжело вздохнул – и как же ему объяснить родной сестре, что он вот родную племянницу...

Начал подтягиваться «командный состав». Лица и голоса в основном бабьи, только успевшие по-мужицки огрубеть. Разговоры, правда, все же не мужицкие. Баба, как ни крути, в любом случае баба.

Плетнев распределил дневные задания. Колхозники потянулись к выходу.

– Катерина, подожди! – придержал За-

хар Егорович уже собиравшуюся переступить порог сестру.

Она удивленно оглянулась, пошла обратно. Полным именем, брат называл ее очень редко.

– Чего, Захар?

И не знал Захар Егорович, как объяснить сестре ситуацию...

– В общем, тут такое дело, Катерина... Анну твою в армию призывают... – бухнул он, словно раскаленный булыжник в кадку с водой бросил.

Сестра непонимающе уставилась на него, переваривая услышанное.

– Ты чо несешь-то? Какая армия? Она ж – девка!

– Вот и до девок добрались, – сокрушенно вздохнул Плетнев.

– Ничо не понимаю – буровит, чо попало...

Плетнев отчаянно махнул рукой и только что не перекрестился, словно решаясь нырять в ледяную прорубь.

– Дело такое... – повторил он и рассказал про разнарядку военкомата.

– Ну, так чо, – поняв, наконец, о чем речь, сказала сестра, – а причем здесь Нюрка? Ей отдельную повестку прислали?

– Нет, не отдельную. Но у нас всего две девки призывного возраста: Аня вот твоя и Маня Жукова.

– Вот Маньку и посылай. Она вон лошадь какая! Сам бог велел...

– Не гневи бога, Катерина! – посуровел Плетнев. – Жуковы и так уже все, что могли, войне отдали – четверо домой не вернулись. Манька у них последней из детей осталась.

– О Жуковых печешься, а о своей родне подумал? Родную племянницу на смерть посылаешь! – всхлинула сестра.

– На службу, Катерина, на службу, – поморщился Захар Егорович. – А служба разная бывает. И призывают девок не в пехоту, а в зенитчицы.

– Да какая разница! – махнула в сердцах рукой Катерина. – Везде убить могут.

– Могут, – согласился Плетнев. – Только в пехоте шансов гораздо больше быть убитым.

– Вот и посылай свою Маньку!

– Ну, я ж тебе объяснял... – прислушиваясь к нарастающему шуму и звону в ушах, сказал Плетнев. – Несправедливо будет.

– А меня, сестру твою, обездоливать справедливо? С тремя детьми на руках оставлять – справедливо?

– Мать поможет, она еще бодренькая, мы с Леной поможем.

– У Маньки тоже мать есть.

– Да большая она совсем! После смерти Пахома и сынов ее вон всю разбило.

Сейчас хоть Манька за ней ходит, а ее не станет?..

– Уж то не моя печаль, – недобро усмехнулась Катерина и вдруг, почти до визга взвинтив свой голос, заверещала: – А я свою кровиночку на бойню не отдам!!! Не для того ростила!..

Сестра кричала что-то еще, уже не выбирая выражений, но Плетнев слов ее не различал – шум и звон в ушах становились нестерпимыми. Он мотал головой, отгоняя их и вопли сестры.

В дверях возникла перепуганная Аня, схватила мать за плечи, пытаясь унять ее и успокоить. Но Катерина билась в истерике, и дочери вместе с Варварой стоило больших трудов увести ее из правления.

Шила в мешке не утаишь. Вестей в деревне – тем более. По Приобскому стаей воронья разлетелись слухи. Слухи были разные, но в основном сходились во мнении, что между братом и сестрой пробрела черная кошка раздора. То ли Катька Шумилова отказалась выполнять какое-то председательское распоряжение, то ли покусилась на колхозное добро, а он ее застучал... По утверждению других, Анька сама во всем виновата – дерзила председателю (ей ведь тоже, как и мамке, палец в рот не клади!). В общем, по той ли, другой или еще какой причине, озлился на них Плетнев и в отместку упрямил районного военкома – «подмазав», конечно – выписать повестку на Аньку...

Про Маню-большую никто и не заикался, потому что об истинной сути конфликта попросту не догадывались. Прежде всего, и сама Маня, которая, заменяя на ферме сразу двух ушедших на фронт скотников, занималась привычным делом: раскидывала вилами перед коровьими мордами сено, убирала навоз...

Плетнев ходил, припадая на правую раненую ногу привычными маршрутами по каждодневным своим председательским делам, появляясь то на ферме, то на току, и словно тяжеленный камень на себе волок. Жалко было Аню. Родная душа. Хоть и не шибко он ладил с сестрой, но племянницу любил и, как мог, оберегал. Потому и в конторе держал. А теперь, выходит, снял с нее свой оберег?

Может, правда, – Маньку? Ну, в конце концов, какое ему дело до Жуковых. Своя рубашка, известно, ближе к телу. «Только как бы потом рубашечка эта на всю оставшуюся жизнь в колючую власяницу не превратилась», – подумал Захар Егорович и увидел их всех – Жуковых, живых еще, войной не прибранных.

Хорошее было семейство: дружное, работающее, отзывчивое, душой к людям распахнутое.

Взять Пахома Митрофановича, главу

семейства – колхозного кузнеца и мастера на все руки. Что угодно мог выковать и изладить – от простого кухонного ножа до узорчатого трехрожкового подсвечника, какой преподнес он однажды на юбилей Ситному. Видный был мужик, рослый, силыщи невероятной. Не красавец. Но незатейливой простоты грубоватое его лицо с крупными чертами и синими глазами (Маня сильно на него похожа) всегда лучилось таким заразительным природным мужским обаянием, что бабы заглядывались на Пахома Митрофановича даже когда шагнул он далеко за грань своей молодости.

Жениться Пахом мог бы, наверное, на любой окрестной красавице, но выбрал жившую неподалеку от их кузни Авдотью Кулакову – невысокую, простоволосую, ничем внешне не примечательную девушку, которая, по мнению многих односельчан, была ему не пара. Но парой они оказались, как раз, замечательной. Словно на их примере бог вознамерился показать другим, какой должна быть настоящая семья.

Никто не знает – не слышал, говорили ли они когда-нибудь друг другу нежные ласковые слова (от громадного, как сарай, Пахома их и слышать-то было бы как-то странно), но и ругани, даже обычной семейной перебранки отсюда не доносилось. Ну, а лучшим свидетельством тому, что существовала меж ними любовь, пусть для постороннего глаза и малозаметная, однако нерасторжимо связующая их, были дети Пахома и Авдотьи: три сына-погодка и дочь, в которых родители души не чаяли, хотя и держали строго, лишник вольностей не позволяя.

Плетнев рано остался без отца. Ему едва пять исполнилось, а Катюхе – семь, когда тот, переходя Обь по апрельскому льду, провалился в полынью и навсегда исчез в мутной вешней воде. Мать замуж больше не вышла, и Захар дальше рос уже без мужского в доме присутствия, чего ему явно недоставало. Может быть, поэтому, став больше, Захар зачастил в кузницу Пахома. Тихонько стоял у стеночки, слушал перезвон молотков, которыми кузнец играючи плющил на наковальне раскаленные докрасна железяки, и ему было хорошо здесь, рядом с этим дядькой. Не отрываясь от работы, Пахом изредка взглядывал на парнишку, весело подмигивал ему, и Захара, словно из горна кузнечного, обдавало сладким жаром.

Когда Захар подрос настолько, что уже мог держать в руках небольшой молот, Пахом давал ему попробовать себя в роли молотобойца. Захара после такого доверия распирало от гордости.

Поляна возле кузницы была любимым

местом игр братьев Жуковых. Летом они пропадали здесь чуть ли не целыми днями. Захар был заметно старше их, но с удовольствием возился с ними. А они ходили за ним буквально по пятам, как цыплята.

Потом Плетнев на время расстался с селом. Призвали на военную службу. После демобилизации пошел в сельскохозяйственный техникум, на агронома учиться. Когда вернулся в село, братьев Жуковых едва узнал: подросли, вытянулись, старший семилетку заканчивал, отцу в кузнице помогал.

Уже став председателем, Захар Егорович Жуковых и на фронт провозжал. Сначала братьев, потом и самого Пахома Митрофановича. В том же порядке со временем и похоронки на них стали приходить...

На Авдотью сейчас больно глянуть. И раньше-то не ахти какого телосложения, теперь и вовсе высохла, закаменела, а глаза до краев наполнились смертной тоской. Как она вообще смогла все это пережить, поражался Плетнев. Авдотья практически не ходила – либо сидела на старом диване с высокой спинкой, увенчанной продолговатым зеркалом, либо на нем же лежала. За пределами дома ее уже давно никто не видел. Мане приходилось и кормить мать, как малое дитя, с ложечки, и убирать за ней.

И если, не дай бог, война приберет еще и Маню...

Захар Егорыч помотал головой, словно отгоняя страшное видение. Нет, не мог он Маню отправить, не мог! Не мог собственной рукой подвести черту под родом Жуковых.

И снова вспомнился ему Пахом Митрофанович. В минуты отдыха устраивался он поудобнее на толстеньком бревне, приваленном к стене кузницы, сворачивал из пожелтевшего газетного клочка cigarку с мелко нарубленным самосадам, блаженно затыкался и, выпуская сизый табачный дым, расслабленно наблюдал возню сыновей тут же, на лужайке. Потом рассеянный взгляд его устремлялся дальше, туда, где в низинке, чуть в стороне от согры поблескивало небольшое озерцо, куда Захар с братьями Жуковыми ходили удить карасей. Что видел там кузнец, чему так светло улыбался? Этого юный Захар знать не мог. Да и не задумывался тогда. Просто и ему тоже становилось хорошо и светло. Он подсаживался к Пахому Митрофановичу. Тот приобнимал его, и они еще минут десять сидели так – то молча, то заводя какой-нибудь разговор.

О чем говорили, Плетнев сейчас уже не помнил. Вспомнилось только, спросил однажды:

– Дядя Пахом, а что в жизни самое главное?

Он недавно стал комсомольцем, идейно подковывался, и вопросы, касающиеся смысла бытия и целей человеческой жизни, серьезно волновали его юную душу. Захар, конечно, знал уже, что для комсомольца главное – быть верным помощником старшего собрата-коммуниста во всех его замечательных делах во благо трудового народа. Но вот сидит рядом с ним сам «трудовой народ» в лице сельского пролетария кузнеца Пахома и что по этому поводу думает он?

– Самое главное? – удивленно посмотрел на Захара кузнец и задумался. Между пальцев его потрескивала тлеющая сигарка. – Народ – он разный... – отозвался наконец Пахом Митрофанович. И, наверное, у каждого свое «главное». По мне же, Захарушка, главное – справедливость. Вот возьмем двух мужиков. Общее дело им поручено. Один хорошо работает, старательно, а другой спустя рукава, лодырничает. Пришла пора им за труды их воздавать. Кому сколько? Лодырь орет: мы вместе кажились, потому поровну надо!

– Ну, уж! – возмутился Захар.

– Вот и я о том же, – согласился кузнец. – Ежели по справедливости, то и возьми сколько всамделе заработал. Как потопал, так и полопал. И так, Захарушка, во всем. По заслугам и деяниям должно воздаваться. Тогда, я думаю, не только лодырей и захребетников не будет, но и без вины виноватых. Справедливый человек не только не станет гнобить другого, выезжать на нем, но и сам тому в случае чего воспритивится. Вон и революцию за ради справедливости делали – чтобы один не угнетал, не унижал другого. А еще справедливый человек будет поступать только по совести, а не по корысти и не по прихоти – своей ли, чьей ли.

Знать, крепко засел в Плетневе тот давний разговор, если спустя столько времени вспомнился. И не просто ведь вспомнился. Слова кузнеца прочно сидели в нем все эти годы, как бы незримым внутренним ориентиром для него были. По справедливости и жить старался.

...Пахом Жуков и еще двое таких же немолодых мужиков отправлялись в райцентр на сборный пункт снежным зимним утром еще затемно. Распрощавшись с родными, мужики повалились на сено в розвальни, и снег прощально заскрипел под деревянными полозьями. Плетнев сам повез их в Сосновку. В райцентре, прощаясь, Пахом Митрофанович сказал с грустной улыбкой:

– Вот и наш черед, Захарушка, пришел за справедливость биться. Но мы ее отстаим – право слово, отстаим!..

«Ну, и какую же справедливость сейчас отстаиваешь ты?» – услышал внутри себя Захар Егорович вопрошающий голос.

– Какую... – хмуро пробормотал Плетнев. – Нешто их много и все разные – на любой цвет и вкус? Ладно! – решительно тряхнул он головой и, словно завершая разговор с внутренним голосом, сказал: – На том и порешим...

Захваченный своими раздумьями Захар Егорович и не заметил, как снова оказался возле правления. Он поднялся на пустое в разгар рабочего дня крыльцо, и вдруг ему подумалось, а почему этот заковыристый вопрос он должен решать единолично. Почему бы и с правлением не посоветоваться. Девки-то ведь свои, колхозные, полноправные члены коллектива. Пусть коллектив тоже голову поломает. А когда коллективное решение примут, тогда и в предвзятости его ни к одной стороне, ни к другой никто не обвинит.

Плетнев быстро прошел в избу, вырвал из амбарной книги сдвоенный лист и, несколько минут слюнявя химический карандаш, старательно, как школьник на уроке чистописания, выводил слова объявления. Руки от волнения тряслись. Буквы получались неровными, строки кривыми. Можно было бы поручить написать объявление Аньке – вон она, за стенкой сидит. У нее бы хорошо и красиво получилось. Но ей-то как раз и никак нельзя. «Сегодня в 8 вечера состоится заседание Правления колхоза «Приморский коммунар», – выводил председатель химическим карандашом. – Повестка...» В этом месте Плетнев долго не мог сообразить, как эту самую повестку полочнее обозначить. Ничего не придумав, приписал: «Внеочередной срочный вопрос».

Осилив, наконец, непривычное дело, взял кнопки, прикрепил объявление на входной двери и удовлетворенно сам себе сказал:

– Как люди решат, так и будет.

Остаток рабочего дня Плетнев старался обходить колхозную контору стороной, чтобы избежать лишних досужих распросов. А когда вернулся к назначенному времени к конторской избе, чуть не выронил трость от удивления – она была забита людьми. Вместо нескольких членов правления собралось здесь чуть ли не полдеревни. Словно собирал он не правление, а общее колхозное собрание. И на крыльце и вокруг было не протолкнуться. Толпа гудела, как растревоженный улей. Увидев Плетнева, народ притих, стал расступаться, освобождая дорогу председателю.

«А может, так оно даже и лучше? – подумал Захар Егорович, пробираясь к своему председательскому уголку. – Как ни крути, а общее собрание – высший орган

колхозной власти, за ним всегда окончательное слово».

Когда Плетнев занял за столом свое место, народ притих. Сбоку, по правую руку от него пристроилась Аня Шумилова, аккуратно разложив перед собой чернильницу, ручку со стальным перышком, раскрытую на чистой странице общую тетрадку, куда записывала протоколы всех собраний правления. Плетнев покосился на племянницу – всегда у нее с бумагами полный порядок, и подумал, как он без нее будет. И еще вдруг пришло в голову: а чего же она тут сидит-то? Речь ведь про нее пойдет. Как же он об этом раньше не подумал. Но сейчас предпринимать что-то было уже поздно. Да и кто лучше нее все это запишет?..

Плетнев встал, откашлялся.

– На повестке у нас сегодня вопрос мобилизационный, – сказал он. Вздохнул и продолжил: – А ситуация, значит, следующая...

Пока председатель говорил, тишина стояла такая, что было слышно, как скрипит, скользя по бумаге, у Аниной ручки стальное перышко.

– ...Так вот, товарищи, встает теперь перед нами задача, кого же выбрать из этих двух девчат-ровесниц для отправки... – Захар Егорович, поперхнулся, не решаясь продолжить словами «отправки на фронт», секунды две-три прочищал горло, наконец закончил фразу, в другом уже варианте: – для прохождения военной службы в рядах Красной Армии.

– Да, наверное, Маня-большая лучше для армии-то сгодится. Она поздоровше Аньки будет, – услышал Плетнев голос одного из членов правления.

– Она и здесь нам прекрасно сгодится, – не согласился другой. – Двух мужиков заменяет!

– Так ить и Анька у нас тут тоже при деле, – заметил притулившийся на лавке в дальнем углу Тимофей Бастрыкин, старый колхозный конюх. – Без нее председатель наш в бумажках утопнет.

– Я тоже сначала про Марию Жукову подумал, – признался Плетнев. – Но дело, товарищи вот еще в чем...

Аня записывала, низко склонившись к тетрадке. Головы почти не поднимала. Но было заметно, что она волнуется. И чем дальше, тем сильнее.

– Война проклятая много наших колхозных мужиков выкосила. Вечная им память. Но семье Пахома Жукова, думаю, поболее других досталось. И сам Пахом Митрофанович, и три сына его головы свои сложили... Авдотью Жукову от такой горести парализовало. Так вот, если мы еще и Маню в армию отправим, то баба совсем одна останется – неходячая. А уж

не дай бог с девкой случится что – не вынесет Авдотья, нет, не вынесет! И еще... – Плетнев снова прочистил горло, но голос все равно оставался глухим и сиплым. – Маня у Жуковых – последыш, а теперь вот, получается, и последний живой в этой семье ребенок. Ни перед ней, ни за ней – уже никого. И когда вдруг убьют и ее, родовая ветвь Пахома Жукова отомрет тоже. Потому что некому будет ее продолжать.

– Ну, да, а у Шумловых одни девки, и Анька старшая, – подхватила мысль Плетнева какая-то из баб, толпившихся в дверях.

– Да, вот такой расклад, товарищи колхозники. И я прошу вас сообща подумать, как нам в этой ситуации поступить. Чтоб было по справедливости.

Захар Егорович опустил на свое место, покосился на Аню. Она сидела пунцовая, по-прежнему не отрывая глаз от тетради.

– Захар Егорыч, – подала голос расположившаяся по левую сторону стола, как раз напротив Ани, бригадир животноводов и тоже член правления Валентина Мотяшова. Женщина средних лет с одутловатым лицом и не то простуженным, не то прокуренным голосом, выделялась она среди местных баб тем, что в любое время года ходила в армейских галифе и сапогах. Достались они ей от покойного мужа, скончавшегося от фронтовых ран в областном госпитале, и носила она их, полагали в деревне, как бы в память о нем. – А ведь Анька родственница твоя. Не жалко?

– Жалко, очень даже. Только родственность – не аргумент, когда мы хотим по справедливости...

– Ой-ей, справедливец хренов! – взвизгнула Екатерина Шумилова и стала пробираться от дверного косяка, который она подпирала, к председательскому столу. Лицо ее гневно перекошилось. – А ты подумал, что если Аньку заберут, у меня еще трое на руках останутся. Как я с ними? Я ведь цельными днями на работе, как белка в колесе, кручусь. Так хоть Анька помогала, а без нее как я буду?

– Да так же, как и все, – ответила за председателя Мотяшова. – Все бабы робуют с темна до темна, и дети у всех, и без мужиков большинство живут. Тебя-то, Катька, горе еще стороной обошло. И ведь никто не верещит, а похлеще тебя крутятся.

– Я многодетная вдова, – опять завела свое Шумилова. – У меня дети малые...

И бабы всколыхнулись, загомонили наперебой:

– Какая ты вдова? Ты – брошенка!

– Твоим малым детям – десять, одиннадцать да двенадцать годов. Им пора в

колхозе старшим помогать, а не лодыря гонять.

– Да она и сама на колхозной работе не горит.

– И даже не шает...

Недолюбливали, если не хуже того, в деревне Ккатерину Шумилкову. Языкастая, злословная и вздорная была бабенка. Во всем и всем поперечная сама, поперек себя слова не допускала – отбрехивалась со злостью цепной собаки. Потому, наверное, и мужики рядом с ней не держались. Четверо их у нее было. От каждого по ребенку осталось – на память. Сами же – растворились, исчезли бесследно. А ведь и мужики-то, помнят сельчане, были нормальные: работающие, не запивающиеся. Ну, так при такой стержовности кто же выдержит? С Шумилковой и работать-то рядом мало кому хотелось. Чуть что – крик, скандал. Только Мотяшовой и удавалось ее обратно «в оглобли» ставить. Работала так себе, а отношения требовала, ровно ударницей была. А как же – ведь не кто-нибудь она, а родная сестра председателя. Хотя и Плетневу от нее тоже не раз «по-родственному» доставалось.

Шумилова примолкла.

В конторе тоже на несколько мгновений воцарилась тишина. Потом поднялась Мотяшова.

– Так вот, ежели по справедливости, то я председателя поддерживаю. Жуковых трогать нельзя – там и так все горем залито. Ну а Аня... девка она боевая, грамотная. Надеюсь, и на фронте наш колхоз не посрамит. Я так думаю.

Мотяшова села.

– Какие еще будут мнения?

Зашелестели по зале в полушэпот разговоры. Но ненадолго. Снова послышался голос Тимофея Бастрыкина:

– Дак каки ишшо мнения, коли решать по справедливости. Неча попусту хвосты накручивать, давай голосовать.

– Ну, тогда, – едва скрывая радость оттого, что подходит конец этому тяжелому болезненному разговору, – голосуем, – сказал Плетнев. – Кто за то, чтобы рекомендовать для прохождения военной службы в рядах Красной Армии Марию Жукову?

Напряженная тишина в ответ. Перышко Ани Шумилковой вопросительно зависло над тетрадь.

– Никого, – тихо констатировал Плетнев и, повысив голос: – Кто против?

Лес рук.

– Воздержавшиеся?

Нашлись и такие – двое.

– Ну, вот, теперь, кажется, все ясно, – сказала Мотяшова.

– Нет, Валентина Семеновна, давайте уж доведем процедуру до конца, – возраз-

ил Захар Егорович и повернулся к собранию:

– А теперь, товарищи, кто за то, чтобы рекомендовать для прохождения военной службы в рядах Красной Армии Анну Шумилкову?

И снова лес рук.

– Кто против?

– Я против, я-я-я! – пронзительно закричала Шумилова-старшая.

Аня Шумилова, словно подхлестнутая пастушьим бичом, вдруг швырнула на стол ручку, сорвалась со своего места и, закрыв лицо руками, ринулась к двери. Никто не удерживал ее. Народ молча освобождал ей путь к выходу. А Плетнев еще раз пожалел, что допустил Анино присутствие на собрании.

– Не пуцу, не отдам свою кровиночку на растерзание! – исходила криком Катерина. – Хоть что со мной делайте, не отдам!..

– Куда ты денешься? – сказал кто-то и словно керосина в огонь плеснул. Катерина заблужила с новой силой.

– Куда денуся? Денуся! И – вот вам всем! – выкинула она сначала в сторону председательского стола, а потом, развернувшись, и остального собрания руку с кукишем. – Хрен вам на рыло, а не доченьку мою ненаглядную! Я ее так сховаю, что и не найдете никогда...

– А вот за это, – сурово перебил Шумилкову, молчавший до сих пор Петр Васильевич Шерстобитов, уполномоченный их, Мокрушинского, сельсовета, куда, кроме «Приобского коммунара», входило еще пять колхозов, – по законам военного времени вы обе можете и срок схлопотать. Анна – за дезертирство, а ты, Катерина, – за пособничество дезертиру. Так что попрдержки-ка лучше язык от греха подальше...

Слова Шерстобитова подействовали отрезвляюще, возвращая Шумилкову к реальности. Всхлипнув последний раз, она замолкла. И сразу как-то сгорбилась, сужилась, словно сдувшийся шарик.

Повернулась и пошла следом за дочерью, бормоча себе под нос: «Ну, ладно, отольются еще вам наши слезки... еще попомните... чтоб вы сдохли все...»

Незаконченный протокол собрания Плетнев потом доводил до ума уже сам, чертыхаясь и с ужасом думая, что отныне вся эта бумажная канитель, от которой его благополучно избавляла Аня, будет на нем самом.

Доставить Аню на сборный пункт взял ся Шерстобитов.

– Заодно и дела там кое-какие решу, – сказал.

Отъезжали через два дня после того памятного собрания. Разгоралось, шур-

ша сухим золотом берез, медью осин и кленов бабье лето. В прозрачном воздухе было разлито такое умиротворение, что и не верилось, будто где-то гремит война.

Плетнев сначала хотел зайти к Шумиловым, как-то ободрить племянницу, сказать напутственные слова на прощанье, но раздумал, предчувствуя, что ждет его там отнюдь не радушный прием. «Прощаюсь, когда отъезжать станут», – решил он.

Зато когда заглянул на ферму, его чуть не сбила с ног Маня-большая.

– Захар Егорыч... дядя Захар... Отправьте лучше меня?

– Куда отправить? – не сразу понял Плетнев.

– На фронт! Вместо Аньки. Она же слабая, ей тяжело будет... А я выдюжу. И мстить буду – за тятеньку и братиков.

– Ох, мстительница, – горько усмехнулся Плетнев. – А вдруг убьют?!

– Да, знать судьба такая, дядя Захар. Вслед за тятей с братиками и я уйду.

– Но-но, дуреха, осади-ка, давай! – рассердился Плетнев. – Уйдет она!.. А о матери ты подумала? Она только тобой и жива и держится, ты у нее теперь единственный свет в окошке. Не станет тебя рядом – и она тут же тихо, без единого выстрела мир наш покинет. И вот еще о чем, Маня, подумай: ведь за тобой, глянь, в семье-то вашей уже никого не остается. Кто будет род Жуковых продолжать? Тот же! А насчет Анны... Не я единолично решение принимал – собрание колхозное. А его решение – закон!

Маня притихла, вытирая рукавом крупные, как горошины, слезы. А Плетнев утешающе потрепал ее по плечу:

– Иди, Маня, работай. Нам с тобой и здесь дел невпроворот. Тоже для фронта трудимся, для победы. Не забывай.

«Вот так-то... – думал Плетнев, покидая ферму. – Две подружки. Одна, тихоня малозаметная, готова подругу в трудную минуту заменить и собой ради нее пожертвовать, а другая, всегдашняя ее верховодка, к такому, выходит, неспособна».

Неяркое сентябрьское солнце еще только выползло из-за горизонта, а Шерстобитов уже подкатывал на подводе к Шумиловскому двору. Путь предстоял неблизкий, и конюх не поспешил на свежее сено.

Увидев в окно Шерстобитова, Плетнев торопливо нахлобучил кепку и выскочил из дома. Он едва успел поприветствовать Петра Васильевича, перекинуться с ним парой слов, как появились сестра с племянницей. На Ане был старенький, заметно потертый, чуть ли не бабушкин еще, плюшевый жакет, голова повязана под стать ему темным поношенным плат-

ком. За спиной оттягивал плечи сидорок с личными пожитками, видать, и харчами на первое время. В этом своем унылом одеянии с сиротской котомкой смахивала Аня на старушку-кусочницу, бредущую от деревни к деревне в поисках подаяния.

Шумиловы подошли к подводе, поздоровались с Шерстобитовым. На Плетнева обе даже не взглянули. Аня, все так же не поднимая глаз на председателя, высвободила плечи из лямок вещмешка, положила его в подводу.

Захар Егорович тронул племянницу за плечо. Она дернулась, как от электрического разряда.

– Счастливого пути, Анечка. И не поминай лихом.

– А как же мне теперь тебя, дядя Егор, помянуть, если ты лихо для меня сам и сотворил?

– Анька! – прикрикнула на нее Екатерина. – Хватит лясы точить! Садись уже... – И добавила едко: – А то на службу опоздаешь.

Аня легко вскочила на телегу, стала устраиваться на сене поудобнее.

Шерстобитов при последних словах Екатерины укоризненно покачал головой. Прощаясь, подал председателю руку. Тронув поводья, некоторое время шагал рядом с конем, потом запрыгнул с другого боку на подводу и дернул вожжи сильнее, прибавляя ходу. Екатерина ехала вместе с ними. До околицы будет провожать, понял Плетнев. Он и сам сначала хотел проститься там, но...

Какое-то время Плетнев шел следом за подводой, глядя в согбенную спину племянницы. А метров через сто она вдруг обернулась, бросая прощальный взгляд на родную деревню. Лицо ее различалось уже смутно, но все равно было ясно, что она плачет.

Показалась она сейчас Захару Егоровичу жалкой и беспомощной, такой брошенной и покинутой, что и у него самого навернулись на глаза слезы, а в горле застрял, спирая дыхание, тугой колющий ком. И острой бритвой полоснуло чувство вины.

Шерстобитов хлестнул коня кнутом. Подвода стала быстро удаляться. Плетнев вернулся к калитке своего дома и, приводя себя в чувство, смолил одну самокрутку за другой. Он стоял, подпирая калитку, до тех пор, пока не показалась на дороге возвращающаяся назад сестра.

– Катюха! – бросился он к ней навстречу.

Что он хотел ей сейчас сказать, что объяснить? В чем оправдаться? Да поздно, когда уже все решилось и свершилось, и не вернуть, не переиграть теперь! После драки кулаками не машут.

Сестра поравнялась с ним и в какой-то неистово-жгучей ненависти прошипела ему в лицо:

– Будь ты проклят со всем твоим отродьем, будь проклят!..

Плетнев был не робким мужиком, но сейчас ему сделалось по-настоящему страшно.

\* \* \*

И покатилась жизнь в Приобском вместе с продолжающейся войной дальше. Захар Егорович по-прежнему исполнял председательские обязанности. Но в нескончаемой суеде повседневных колхозных забот не отпускало его чувство вины перед племянницей. Много-много раз Плетнев возвращался памятью к той ситуации. И всегда выходило, что, если по совести и справедливости, то поступил он правильно, и люди его поддержали. Однако ощущение вины горьким осинovým привкусом все равно оставалось в нем.

Да и Екатерина не «позволяла» от него отрешиться. С отъездом дочери она обозлилась, замкнулась, общения избегала, а Захара Егоровича и вовсе обходила десятой дорогой. Он, правда, пытался на первых порах наладить отношения, но получил жестокий отпор. «Ты мне больше не брат!» – с ненавистью сказала Катерина и как топором по их родственной связке рубанула:

Мать сокрушалась и плакала, но сделать ничего не могла: Катерина на попятную не шла.

От Ани приходили письма. Судя по ним, в армейскую походную боевую жизнь она вполне вписалась, и служилось ей неплохо. И чем дальше война откатывалась на запад, – тем лучше. Катерина немного отмякла, повеселела, а когда дочь иной раз сообщала, что ее военная доблесть удостоена очередной награды, бегала с солдатским треугольником по всей деревне и хвасталась, что вот какая у нее Анька – бой-девка, герой, дает жару фашистским асам! Она еще себя покажет, еще и правда золотая звезда Героя ей на грудь упадет.

Героя – не героя, но звезды на груди Анны Шумиловой односельчане, когда она в конце августа 45-го вернулась после демобилизации домой, действительно увидели: одну на сияющем рубиновым огнем ордено Красной Звезды, другую – в ореоле золотых ордена «Отечественной войны». А на правой стороне Аниной груди поблескивали еще и медали, одна из которых – «За взятие Будапешта» – была такой символической точкой на славном боевом пути Шумиловой.

Ладной ее фигуре военная форма явно шла. И перетянутая широким офи-

церским ремнем суконная гимнастерка, и с особым шиком сидящая на коротко стриженной голове пилотка, и начищенные до зеркального блеска хромовые сапожки – все было ей к лицу.

В самой же Анне сейчас с трудом угадывалась Анька Шумилова двухлетней давности – еще не оформившаяся окончательно деревенская девушка с косичками. Теперь это была заматеревшая и совсем уж не деревенского вида бравая женщина. Она курила «Казбек» – доставала папиросу из картонной коробочки с черным всадником, мчащимся на фоне такой же черной горы, постукивала по коробочке папиросой и, форсисто заломив мундштук, прикусывала его ярко окрашенными губами; потом, слегка прикрывая глаза, затягивалась и выпускала вверх красивые синеватые кольца, источающие сладковатый нездешний дух. Немногие вернувшиеся с фронта приобские мужики, если оказывались рядом, стыдливо прятали в рукав свои сигарки.

А еще деревенские бабы отметили, что вернулась Анна с «довеском». За это говорил чуть-чуть пока округлившийся животик. Не сразу, но все же удалось особо любопытным выведать потом, кто ж это так постарался и где он теперь.

– Был один... – хмуро призналась Анна. – Жила я с ним. Наверде как ППЖ\*. Все надеялась, что вот мир настанет, и мы распишемся. Он тоже мне это обещал. А война закончилась – оказалось, что давно расписанный он. Сразу же к своей законной и рванул. Только его и видели...

Домой Анна прибыла не с пустыми руками. Кучу подарков из заграничных краев навезла. И матери, и сестрам, и бабушке... Только дядю своего Захара обошла стороной.

Она и поздоровалась-то с ним при встрече как с совершенно чужим человеком. И радость, с которой Плетнев ожидал племянницу, сдуло, словно ветром пену.

Впрочем, худшее ждало его впереди.

\* \* \*

На званый ужин по поводу возвращения Анны Захара Егоровича не пригласили. Сестра встретила его на улице и сказала, что они с дочерью его видеть не хотят.

– Катерина, ты что? – опешил Плетнев. – Это ж тебе не просто так, гулянка воскресная – мероприятие! Встреча и чествование фронтовика. Вся деревня, поди, будет. И вдруг нет председателя! Что люди-то подумают?

– А мне плевать – что подумают! Но на пороге моей избы что ноги твоей не было! – жестко и непреклонно сказала Катерина, даже не повышая голоса.

– Я же слово должен приветственное сказать героине нашей... – попытался хоть как-то объяснить необходимость своего присутствия Плетнев, но Катерина оборвала его:

– Ты его еще два года назад сказал, когда мою девочку на смерть посылал.

– Какая ж смерть! Живехонька-здоровехонька. В орденах и медалях вся...

Не отвечая, лишь смерив напоследок ледяным ненавидящим взглядом, Катерина круто развернулась и зашагала к своему подворью.

Плетнев смотрел ей вслед и было ему стыло и тягостно. И не хватало дыхания. Будто под дых со всей мочи двинули.

Про «всю деревню» Захар Егорович ошибся. Застолье было не очень людное и достаточно скромное. Далеко не все удостоились на него попасть. Катерина гостей отбирала сама.

Мани-большой среди них не значилось. Но она, не ведая о том, пришла сама. Как бы по праву закадычной с детства подружки.

В отличие от Анны, изменилась Маня мало. Разве что исчезла детская припухлость губ да погубели, заострились черты лица. Даже толстая в руку коса, спускающаяся до середины спины, осталась прежней. Да и жизнь Мани за эти два года практически не изменилась. Все та же день-денской потогонная работа – то на ферме, то в лесу, на заготовке чурочек для газогенераторных грузовиков. Дома – больная мать... Была... В мае, сразу после дня Победы Маня ее схоронила. И осталась совсем одна в пустой, но когда-то заполненной до предела голосами родных людей, смехом, полнокровной здоровой жизнью, избе. Днем боль тоски и одиночества скрадывала работа, а по ночам никак не могла уснуть. Даже усталости, свинцом наливавшей все тело, не удавалось свалить ее в сон. Маня лежала в постели, и со всех сторон слышала голоса то матери с отцом, то братьев. Ей начинало казаться, что они собрались все у ее изголовья и что-то рассказывают ей. Она пыталась разобрать – что, но слова шелестели, как сухие листья. Под этот шелест она забывалась до утра...

Узнав о возвращении подружки, Маня очень обрадовалась. Мнилось, что Аня, ее любимая Анечка, избавит от страха одиночества, что будет теперь, кому душу излить. Но когда увидела Шумилову в сиянии орденов и медалей, выходящую из легкового газончика, в каких тогда ездили только некоторые районные начальники (какой-то из них геройскую фронтовичку и в Приобское доставил), Маня сильно оробела и подойти не посмела. Теперь вот решилась...

С гулко стучащим сердцем Маня переступила порог Шумиловского дома. Застолье уже началось. Народ принял по первой, бодро налегал на закуску. Увидев Маню-большую, притихли, с интересом ожидая, что будет дальше. Анна, как и полагается виновнице торжества, восседала во главе стола под потемневшей иконой над головой и – пониже нее – семейными фотографиями в рамке рядом с матерью по правую руку и бабушкой – по левую. Увидев Маню, нехотя поднялась, пошла навстречу.

У Мани в радостном предвкушении их горячих объятий уже наворачивались радостные слезы. Но, когда подружки сблизилась на расстояние шага, Маня словно в невидимую стену уткнулась. Она увидела протянутую ей ладонь подружки с наманикюрными пальчиками. Маня осторожно взяла ее в свою разбитую работой руку. И от этой ухоженной ладони, и вообще от всей Ани Шумиловой исходил нездешний аромат трофейного парфюма.

– Здравствуй, Анечка, – просевшим от волнения голосом чуть ли не басом сказала Маня.

– Привет-привет... – без всяких эмоций ответствовала Шумилова, блистая во всей своей армейской красе.

Маня невольно залюбовалась ею.

– Вон ты какая стала!.. – восхищенно сказала она. И, не зная, как еще выразить свой восторг, добавила: – Ровно елка на Новый год!

Аня поморщилась. Немудрящее Манино сравнение ей пришлось не по душе, даже обидным показалось, и она язвительно заметила:

– Зато ты, как была тухлой серой, так тухлой серой и осталась...

И, выдернув ладонь из Маниной руки, круто развернулась и отправилась на свое место.

А Маня осталась истуканом стоять на месте, оглушенная таким приемом.

Недолгое молчание за столом нарушилось, гости загомонили. Районный начальник, доставивший Шумилову в Приобское, оказавшийся при ближайшем рассмотрении далеко еще не пожилым человеком, предложил тост за великую Победу и таких замечательных женщин, как Анна Николаевна Шумилова без которых эту Победу невозможно представить. Тост бурно поддержали, выпили стоя.

Маню-большую за стол никто не приглашал. На нее вовсе не обращали внимания, словно ее здесь и не было. До Мани наконец начало доходить, что она на этом празднике лишняя, и, заливаясь краской стыда, стала бочком подвигаться к выходу...

На другой день Плетнев с племянни-

цей все-таки встретился. В колхозной конторе. Люди только что разошлись после наряда по рабочим местам. Плетнев один корпел над бумагами – сводками, справками, отчетностью, к составлению которых за свою председательскую службу так и не смог привыкнуть. «Хорошо бы Анну опять привлечь», – подумал он, и почувствовал, как заныло от нанесенной вчера Катериной обиды сердце.

– Здравствуйте, Захар Егорович! – услышал Плетнев. Подняв голову, увидел в пороге Аню.

От неожиданности он привстал из-за стола, приглашающим жестом показал на одну из табуреток перед ним.

Шумилова прошла, звякнув наградами, села, небрежно закинув нога на ногу. Достала «Казбек», не спрашивая разрешения, закурила. Она и раньше-то сильно застенчивой не была, а тут и вовсе чувствовала во всех ее движениях, позе, взгляде несомненная уверенность в себе, в своей неотразимости и превосходстве.

Плетнев захотелось, было, порасспросить ее о боевой жизни, за что награды получены – ведь за просто так их не дают. Но исходящие от Анны токи самоуверенности и самодовольного превосходства остановили его. Да и как-то неуютно чувствовал себя Захар Егорович под сиянием ее «иконостаса», поскольку сам-то, кроме увечья, ничего не заработал. И он промолчал. Молчал, пока племянница доставала коробку с папиросами, закуривала... Наконец спросил:

– Чем заниматься-то думаешь? В помощницы ко мне пойдешь? По старой памяти.

Аня отвела от лица руку с зажатой между пальцами дымящейся папиросой, презрительно усмехнулась:

– И чего ж я тут забыла, Захар Егорович? – А после секундной паузы с нотками все того же превосходства в голосе и затанной гордости сказала: – Я теперь птица другого полета!..

– Ну-ну... – отозвался Плетнев, чувствуя, как еще сильнее заныло сердце. – И куда ж ты теперь лететь собираешься?

– Пока что в район. Там мне уже местечко присмотрели. Нам, фронтовикам, теперь везде дорога! Сначала в район, а дальше посмотрим. Глядишь, и город наш будет...

«Ишь ты, «завоевательница!» – с обидой и неприязнью подумал Плетнев. – Будто в родной деревне делать нечего».

– Я вот и в контору зашла, чтобы кое-какие формальности уладить.

– А мать с бабушкой?

– А что мать с бабушкой? Как жили, так и жить будут, – пожал плечами Аня. – Устроюсь – помогать стану.

– И то ладно, – проворчал Плетнев.

«Формальности» они уладили. Захар Егорович ныне, если бы даже и сильно захотел, не смог бы удержать Анну Шумилову, фронтовика и орденносца, в колхозе. Она теперь и вправду была «птицей другого полета». Впрочем, у Плетнева и желания никакого не возникало ее удерживать. «Пусть катится!» – с какой-то непривычной для себя злостью сказал он сам себе, когда племянница скрылась в дверях.

Увозил Анну Шумилову из села на следующий день все тот же районный начальник, что доставил ее сюда. День был воскресный, сухой и теплый. «Газик» окружили немногочисленные зеваки. Плетнев был дома. Проводить племянницу он не вышел.

\* \* \*

Анку-зенитицу – так ее с тех пор за глаза называли односельчане – в деревне больше не видели. По слухам, сошлась и жила она какое-то время с тем районным начальником, но что-то у них не заладилось, и они разбежались. Может, не захотел начальник чужого ребенка воспитывать, который к тому времени у Анны родился.

А позже и Катерина с оставшимися дочерьми и матерью к ней в райцентр переехала. Кто-то же должен был нянчиться с малышом. Анне Николаевне на это времени совершенно не находилось. Вся она была в делах – служебных, партийных (на фронте Шумилова стала коммунисткой) и общественных. Она не вылезала с парт и прочих собраний, конференций, активов, слетов, заворачивала районным Советом ветеранов войны, ее избрали депутатом райсовета трудящихся, членом райкома... Ее дома и застать-то было нелегко. Так что бабушка и прабабушка были здесь очень кстати. Благо жилплощадь позволяла. В райцентре, впервые с довоенных времен, построили несколько жилых домов. Половину одного из них с приусадебным участком и надворными постройками получила Анна Шумилова.

\* \* \*

Маня-большая продолжала жить своей нешумной, малозаметной трудовой жизнью. Впрочем, почти одновременно с переездом Катерины Шумиловой в Сосновку, произошло в ее жизни важное событие. Она вышла замуж. Случилось это быстро и буднично. И для многих в деревне неожиданно. Особенно если учесть, что недобор мужиков в Приобском, как, впрочем, и во всех окрестных деревнях, был страшный, а, стало быть, и выбор невест – огромный.

Однажды появился в «Приобском ком-

мунаре» новый плотник по имени Василий Трошин. Был он нездешний. Из Смоленщины. Когда призвали в армию, оказался с отступавшими частями под Москвой. Там и ранили в первый раз. После госпиталей, ближе к весне сорок второго года снова очутился на фронте. Но уже не пехотинцем, как до этого, а понтоньером. И до февраля сорок пятого наводил переправы на пути наступления наших войск через большие и малые реки, пока на Одере не получил еще одно тяжелое ранение.

Поправившись, отправился в родные места. Вместо села своего увидел пепелище с голыми печными трубами. Удалось Трошину разузнать, что сгорела не только сама деревня. За связь с партизанами сожгли эсэсовские каратели и всех оставшихся в ней жителей, согнав в колхозный амбар. Сгорели в том амбаре и родные Василия. И остался он один-одинешенек: ни кола, на двора, ни близких ему людей... Куда теперь ему, прошедшему, почитай, всю войну солдату податься?

Вспомнил Семена Брызгалова – соседа по больничной палате, с которым лежал в новосибирском госпитале. Месяца три они с ним там кантовались – койки рядом стояли, одну тумбочку на двоих делили. Каждый свою деревню вспоминал, друг другу рассказывали, какая она. Семену часто приходили письма. И он время от времени читал их Василию вслух, мечтательно, в предвкушении будущей встречи закатывая глаза. Трошину писем уже давно никто не слал, и оттого на душе делалось все тревожнее. Брызгалова выписали раньше. На прощание, сунув Василию свой адресок, он сказал: «Приезжай, погостишь, и вообще... приезжай, если что! У нас места всем хватит – не пропадешь!» Как чуял, Брызгалов, говоря – «если что»...

Недолго размышлял Трошин. Отправился назад, в Сибирь, по указанному Брызгаловым адресу. В Приобском его встретили лучше некуда. Фронтвики, да еще владеющие ходовым ремеслом, были в большой цене. Василий оказался отменным плотником да и помимо того мастером на все руки и быстро стал работником поистине незаменимым.

С Маней Василий познакомился, когда пришел ремонтировать и приводить в порядок деревянные «внутренности» фермы.

– Вот это дивчина! – восхищенно воскликнул он, впервые увидев Маню.

Девушка покраснелась. Complimentов она сроду ни от кого не слышала. За работу – другое дело – хвалили. Да и какие комплименты, если смотрели парни на нее, как на «тюху серую» да «каланчу»,

и видов на нее не имели, даже несерьезных.

– Тебя как звать-то? – спросил Трошин.

– Маня, – и вовсе зардевшись цветом маковым, чуть слышно ответила она.

– Так это тебя Маней-большой в деревне кличут?

Она молча кивнула и опустила голову.

– А я Василий. Василий Трошин. Вася. Правда, не «большой»...

Он и в самом деле «большим» не смотрелся, особенно рядом с Маней. Чуть выше ее плеча ростом, коренастый, крепко сбитый, однако сила чувствовалась в нем немалая. Был он лет на пять старше Мани, но лоб его пробороздили две глубокие морщины, а шевелюра подернулась инеем ранней седины.

Маня подняла глаза, взгляды их одинаково голубых глаз встретились, вызвав замыкание душ и сердец. И глубоко нутром оба почуяли, что дальше идти им вместе.

Всю неделю, пока тюкал Трошин на ферме топориком, они говорили друг с другом и не могли наговориться. Рассказывали о себе, о том, что было с ними в прошлой жизни и все острее чувствовали, как близки они своими судьбами.

А потом Василий проводил Маню с фермы домой. И остался у нее...

Свадьбы не справляли. Просто начали жить вместе. Сначала и отношения свои не оформляли. Уж когда первенец-сын родился – расписались в сельсовете.

Деревенские, глядя на них, поначалу удивлялись: чудно – чуть ли не на голову баба мужика выше! Потом привыкли, рассудив – не с ростом же жить, с человеком... А человеком Василий был, под стать Мане, работающим и душевным. И, как сказал о нем однажды Плетнев, – мужиком качественным. Сам же Захар Егорович, глядя на эту молодую семью, невольно вспоминал Пахома и Авдотью Жуковых. И их сыновей.

Маня же родила одного за другим трех собственных. Слово их рождением постаралась восполнить преждевременный уход из жизни братьев. Сыновья ее чем-то и похожи были на них.

Захар Егорович всем троим стал крестным отцом и, наблюдая, как бурно, не смотря на несуютную послевоенную жизнь, идут они в рост, с радостью и облегчением думал, что правильно он тогда, все-таки, сделал, что не отдал Маню на войну.

Но недолго довелось Плетневу радоваться. Фронтвые раны и контузия, постоянное перенапряжение, что испытывал он, волоча по колдобинам и хлябям военно-послевоенного лихолетья колхозный воз, все сильнее давали о себе знать, подтачивали здоровье. Не укрепляла его

и размолвка с сестрой и племянницей. После переезда Катерины в Сосновку встретились они с ней всего раз, года через три, на похоронах матери. Смерть матери помирила их, но родственную лодку было уже не склеить. Да и времени не оставалось. Через полтора года вслед матушке своей уйдет в мир иной и Захар Егорович, отдав родной земле всего себя без остатка...

\* \* \*

Аня Шумилова, а для большинства окружающих давно уже только Анна Николаевна, между тем, продолжала набирать высоту. В райцентре надолго она не задержалась. Инициативную, энергичную и честолюбивую функционерку заметили в областном центре, пригласили инструктором в сельхозотдел Обкома партии. Но велели продолжать образование. И Шумилова отправилась без отрыва от «производства» учиться в партшколу. А когда через несколько лет с отличием окончила ее, пошла на повышение – возглавила организационный отдел одного из райкомов партии областного города. Некоторое время спустя заняла вакантное место (была избрана) третьего секретаря другого городского райкома. «Доросла» там и до второго. А заканчивала Анна Николаевна Шумилова свою партийную карьеру опять в Сосновке, чуть ли не десяток лет возглавляя здешний райком.

На личном фронте дела у Шумиловой обстояли далеко не так успешно. Родившаяся у нее сразу после войны девочка прожила всего ничего. И двух лет не было крошке, как задушила ее дифтерия. На войне Анна Николаевна насмотрелась смертей. Но это были чужие смерти. А здесь умер ее ребенок – плоть от плоти, кровиночка... Ладно, успокаивала ее Катерина: молодая, здоровая, родишь себе еще. Она и сама на то надеялась. Оказалось – напрасно. Но однажды пыталась Анна Николаевна устроить личную жизнь, сходилась и расходилась с мужчинами. Никто, однако, рядом с ней, властолюбивой верховодкой, которой и в семейной жизни надо было непременно доминировать и подчинять себе, долго не удерживался.

Впрочем, из-за этого Анна Николаевна особо и не переживала. Другое ее удручало – родить не получалось никак. Хоть от того красавца, хоть от этого. А мужчины ей доставались – загляденье! Уже и сестры ее младшие замуж повыходили и своих детей на свет произвели, а она так и оставалась «коровой яловой». Словно порчей какой была тронута, венцом бесплодия околдована. И что только не делала она для исправления положения! Не помогли ни врачи, ни знахарки. Катерина, пока

жива была, настойчиво в церковь советовала пойти, через батюшку-настоятеля (он нужные молитвы подскажет) у бога помощи попросить. Но этот вариант Анна Николаевна, как партийный работник принять не могла. Хотя в душе была согласна даже на такие «крайности».

А потом не стало и Катерины. Сестры за мужьями разъехались по стране кто куда (да и не испытывала она к ним понастоящему родственных чувств никогда). И Анна Николаевна осталась совсем одна. Только работа и спасала. В квартиру к себе приходила лишь переночевать.

\* \* \*

Семья Трошиных продолжала жить в Приобском до последних его дней. Маня все так же трудилась на ферме, Василия с его плотницкой бригадой можно было видеть на разных объектах разрастающегося колхозного хозяйства, а то и за постройкой новых изб. Семейство их прибавилось еще на одного сына и дочь. Старшие один за другим закончили семилетку в родном селе, пошли дальше кто в училище механизации, кто в техникум. Младшие еще учились в школе. И была уверенность, что все они продолжат крестьянское дело родителей на Приобской земле.

Так бы, наверное, и было, но через три десятка лет после победы над фашизмом развернулась новая война – с русским крестьянством, которое начали повсеместно сгонять с насиженных мест, стирать с лица земли его родные деревни, ставшие вдруг «неперспективными», а самого загонять в «поселки городского типа». В них, построенных наспех и кое-как, кроме шести приусадебных соток под окном, где ни скотину держать, ни картошки посадить на обычно большую деревенскую семью, не имелось больше для подневольных переселенцев ничего.

В одну из таких переселенческих «резерваций» попала и семья Трошиных, когда вал ликвидации «неперспективных» деревень докатился до Приобского. Красавца-села с вековой историей не стало. Маня-большая уезжала в слезах. Наворачивались они и на глаза Василию, давно прикипевшему к этим местам с прекрасной рыбалкой, охотой, грибами в окрестных борах и березняках. Новый же поселок «посадили» практически на голое место в окружении редких жиденьких колков и заболоченных согр. Не было рядом ни речки, ни приличных угодий. Для питьевой воды бурили артезианские скважины, но выкачивалась оттуда какая-то сомнительная рыже-тараканьего цвета и сильно железистая жидкость. Она оставляла на посуде ржавые потеки, пить ее просто так, для утоления жажды было почти невоз-

можно. И Трошины, каждый раз, качая ее в ведро, невольно вспоминали свой колодец-журавель в Приобском с его вкуснейшей водой.

Покидая Приобское, Трошиным со многим пришлось расстаться, пустить под нож скотину (только поросенка, до нескольких курей забрали), и начинать жизнь на новом месте практически с нуля.

Кто позажиточнее, или имея там родственников, переезжали в пригородные поселки областного центра. У Трошиных такой возможности не было. Хорошо хоть удалось им свою избу, всего лет за пять до этого Василием отстроенную, в Залесово из Приобского перевезти. С работой тоже начались проблемы. Рабочих рук было больше, чем рабочих мест. Да и те, что имелись, ветеранам вроде Мани-большой были заказаны. Не вписывались такие, как она, они в механизированные комплексы и залы машинного доения современных ферм, отданные «на откуп» молодым специалистам: зоотехникам, операторам машинного доения... С большим трудом Мария Пахомовна устроилась в поселковую школу уборщицей. И это было счастьем, потому что младшие сын с дочкой учились здесь же и теперь были у нее на глазах. Двое старших после окончания училища, в чужое для них поселение возвращаться не захотели и поехали пытаться счастья в город. Там же доучивался в техникуме третий сын. У него тоже все надежды были связаны с городом.

– Ничего, – успокаивал жену Василий, – пусть свою дорогу ищут. Все одно в городе им лучше будет, чем в нашем болоте.

Иначе как «болотом» он новый поселок не называл. Приложения к своему плотницкому умению он найти здесь не мог. Мыкался по разным временным работам, пока не приткнулся в местную кочегарку. Всегда веселый, распахнутый, он захандрил, стал попивать. И однажды лютой январской стужей, возвращаясь домой от собутыльника из одного края широко разбросанного по степи поселка в другой, замерз, упав по пути в сугроб и не найдя в себе сил подняться.

Смерть мужа Марии Пахомовна переживала тяжело. Первой и единственной любовью он был, отцом ее детей. Больше тридцати лет вместе. И как жить после случившегося дальше – она не представляла.

– Ничего, мать, – прорвемся! – сказал старший сын, вспомнив любимое присловье отца, когда собрались они после похорон всем семейством.

– Помогать будем, – поддержали братья.

Мария Пахомовна вздохнула в ответ. А что им еще остается делать? Только про-

рывать! И не в первый уже в ее судьбе раз...

Жизнь снова накалилась до предела, как в дни войны, когда прозывали ее еще Маней-большой. Только враг теперь был другой – непонятный какой-то: не чужеродный и сторонний, а внутри возникший и изнутри действующий, но действующий подчас не лучше фашистского завоевателя. Однако и его надо было побеждать. Ради жизни собственных детей, их лучшей и более счастливой доли. Благо и дети, материнскую заботу чувствуя и понимая, не оставались в стороне: по весне всем табором сажали, а осенью копали картошку (совхоз теперь выделял под нее на полях землю), помогали в огороде, по дому. Двое старших, найдя в городе работу, поддерживали деньгами. Продолжала работать – все так же школьной техничкой – и сама Мария Пахомовна. В общем, «прорывались» Трошины во главе с Марией Пахомовной всем семейным кагалом к чистой воде счастливого будущего, не представляя, правда, как далеко и долго до него добираться и через какие тернии придется дальше продираться. Марии Пахомовне иной раз казалось, что никакой жизни на это не хватит.

А годы текли, словно песок сквозь пальцы. Пришла пора Трошиной пенсию оформлять. Вообще-то эта пора еще лет семь назад наступила, да только все как-то не отваживалась Мария Пахомовна бросить работу. Хоть и не шибко она, шваброй орудя, получала, но все-таки больше, в сравнении с совсем уж нищей колхозной пенсией. Тем более что, если выдавалась возможность, Мария Пахомовна и в других местах прирабатывала. Но дети вырастали, оперялись, обзаводились семьями. Уже и младшего сына она женила. Да и дочь была на выданье. Семейное древо Трошиных обрастало новым «годовым кольцом». От ребячьих голосов звенело в ушах, когда сыновья с внуками на праздники собирались у матери.

Баба Маня была у сыновей нарасхват. То один просит погостить – считай с внуками понянчиться, то другой. С нею в Залесово только младший сын да дочь жить остались. Она бы и рада погостить, но лишний раз вырваться не может – работа. И стали дети уговаривать мать оставить, наконец, чертову работу и уйти на пенсию. И так сорок лет отманули. Всех их подняла, в люди вывела. Пора и на отдых заслуженный. Немного лукавили, конечно, на себя одеяло тянули – какой там все-таки отдых при ораве внуков! Не отдых, конечно, понимала и Мария Пахомовна, но если и труд, то самый, наверное, радостный и благодарный, для которого и

сил оставшихся не жалко. Да и жить как-то полегче стало. То сама на детей всю дорогу тянулась, а теперь пришла, знать пора ответной благодарности. И пенсия ноне куда как больше, чем раньше.

В общем, решила Мария Пахомовна, взялась оформлять пенсию. Справки всякие собирая, зачастила в райцентр. В один из таких походов и состоялась их встреча...

В райисполком Мария Пахомовна неудачно угадала под обед, и сейчас вынуждена была на лавочке в тени административного здания целый час дожидаться, когда вернется к себе в кабинет нужная ей чиновница. Трехэтажное кирпичное здание с большими окнами, высокими потолками было поделено на две половины. С той стороны, где сидела на лавочке Трошина, находился вход в райисполком, а с противоположной – в райком партии.

Еще только начинался сентябрь, и было по-летнему тепло. Устроившись удобнее на лавочке, Мария Пахомовна стала задремывать. Но тут же почувствовала, что кто-то сел рядом и в упор глядит на нее. Она открыла глаза и услышала:

– Точно, Маня!

На нее смотрела примерно ее возраста, но более молодежового вида, ухоженная, со вкусом одетая женщина. Что-то знакомое угадывалось в ней, но узнать ее сразу Мария Пахомовна не смогла. Лишь когда женщина, слегка толкнув ее плечом, сказала: «Ты что, Маня, не признаешь меня?», в ее памяти, как на замерзшем стекле, тронутого теплым дыханием, появилась и стала расширяться проталина, из глубины в которой проступило лицо Анны Шумиловой.

– Аня? – удивленно откликнулась Мария Пахомовна.

– Узнала, наконец! – обрадовалась Шумилова.

Не сговариваясь, они потянулись друг к другу и обнялись.

– Эвон ты какая стала! – сказала Мария Пахомовна, отстраняясь от подруги.

– Какая?

– Чисто королева! Начальница, поди?

– Начальница, – засмеялась Шумилова. – В соседнем подъезде работаю.

– В райкоме?

– В нем самом. Им и командую.

– Надо же? – удивилась Трошина.

– Неужели не знала?

– Нет, – призналась Мария Пахомовна.

Она и правда не знала. Ни сами они с Василием, ни сыновья их к коммунистам отношения не имели, районную газету читали редко, а если и читали, то фамилия Шумиловой им там не попадалась.

И пошел у них разговор – долгий, с рассказами о себе и близких, с омытыми

слезами воспоминаниями о далеком детстве и юности... Маня-большая забыла про нужную ей чиновницу, а Анка-зенитчица про свой райкомовский кабинет.

– Я, Маня, иногда думаю, что, если б не настоял тогда дядя Захар, Захар Егорович, на своем и не оказалась бы я на фронте, судьба моя могла б совсем по-другому повернуться. Чахла б, наверное, как и ты, в колхозе и дальше нашего райцентра ничего не видела. А так... За Родину повоевала, мир посмотрела. Реализоваться смогла сполна, показать, на что способна. У меня, Маня, не только боевые, но и трудовые награды имеются. Орден Трудового Красного знамени, вот... Так что не зря небо коптила.

– А мы, значит, шушера колхозная, темнота беспартийная, зря все это время – и в войну, и после – горбатились и надрывались? – вдруг обиделась Мария Пахомовна. – Хотя, может, и зря. Мы – робили, как проклятые, жилы рвали, а нас за это прижимали да притесняли, как только могли, дыхнуть свободно не давали. Вон даже огороды обрезали по самое не могу...

– Маня, – строго, с металлом в голосе оборвала подругу Анна Николаевна, – не обобщай! Да и не об этом я говорю – о себе, – снова помягчел ее голос. – Я ведь сильно обижалась на Захара Егоровича. Как же – не мог родную племянницу выгородить! И на тебя тоже обижалась. Полагала, что тебе место на фронте, а не мне. Сильно я, оказывается, ошибалась. Война разных людей объединяет, к единому, так сказать, знаменателю приводит. А меня война и вовсе человеком сделала, на широкий жизненный простор вывела. Как говорится, нет худа без добра...

– Ага, кому война, а кому – мать родна, – проворчала Мария Пахомовна.

– Вот и получается, – пропустив ее реплику мимо ушей, продолжила Шумилова, что я не обижаться должна, а по гроб жизни быть вам с Захаром Егоровичем благодарной.

– Да ладно... – засмузилась Трошина. – А Захара Егоровича жалко очень. Замечательный мужик! Только продыху ему не было. Вот и надорвался. Не старый еще помер...

Обе разом всхлипли, помолчали.

– А с другой стороны, – снова торопливо, словно спеша высказать копившееся в ней годами, заговорила Анна Николаевна, – война эта проклятая мне жизнь все равно покорежила. Личную мою жизнь. Там, на фронте, когда вокруг в основном мужики, казалось, что любой может быть у твоих ног – стоит только захотеть. И после войны продолжала так думать. А что – ни внешностью, ни умом бог меня не обидел.

Но потом поняла, что у ног-то своих еще и удержать надо. А вот этого не могла, не умела. И если что в моем избраннике меня не устраивало – я по нему, как по самолету из зенитки, лупила. В самое уязвимое место попасть старалась. И попадала. Я – меткая. Меня другим девушкам дивизиона всегда в пример ставили. А когда попадала – всё, вдребезги моя очередная любовь! И вот тебе, Маня, результат. Мужа, как не было, так и нет, детей – тоже. Людей вокруг меня всегда много разных, а голову приклонить некуда, по-настоящему близких-то почти и не осталось. А ты вон сидела в нашем Приобском, никуда не рыпалась, женихов не искала, не выбирала. Василий твой сам тебя нашел – раз и навсегда! Хотя вроде бы и глазу зацепиться не за что. Красавицей никогда и близко не была...

– Так оно с лица-то воду не пить, – возразила Мария Пахомовна.

Анна Николаевна тоскливо вздохнула, отрешенно глядя перед собой, и сказала:

– Эх, Маня, если б ты знала, как я тебе завидую! И лучше б я все-таки оставалась тогда дома и жила обычной нашей деревенской жизнью...

Анна Николаевна уронила голову подруге на плечо и зашла навзрыд так безутешно, словно отправляя в последний путь, оплакивала свою странную двуединую жизнь, атласно-белую, во всех отношениях удавшуюся – с фасада и уютно-промозглую, тоскливо-серую – со двора.

Мария Пахомовна успокаивающе гладила Шумилову, прожигая ее плечо собственными слезами, и думала, что им, бабам, – красивым или нет, звездами осыпанным или с неба их вовсе не хватавшим – счастье дается одинаково трудно...

\* \* \*

Это была последняя встреча подруг. Больше судьба вместе их не сводила.

Шумилова вскоре ушла на пенсию. И долго еще занималась разными обще-

ственными делами, а когда они вдруг хотя бы на время иссякали, впадала в депрессию, ибо тогда совершенно не знала, куда себя деть в пустоте своей личной жизни. Сестры ее младшие, обзаведясь семьями, поразъезжались из родных краев по другим городам и весям. Да и не шибко-то Анна Николаевна с ними, взрослыми и самостоятельными, роднилась, большинство племянников и племянниц своих только на фотографиях и видела.

Трошина, выйдя на пенсию, «гастролировала» по семьям своих детей, а потом и выросших внуков, от которых уже и правнуки пошли. Была она там желанным гостем и этаким челноком, связывающим в единое прочное целое нити большого семейного полотна, ткать которое начинали еще ее родители – незабвенные Пахом и Авдотья Жуковы, а продолжила она, Мария Трошина, урожденная Жукова.

Умерли Анка-зенитчица (по паспорту Анна Николаевна Шумилова) и Маня-большая (Мария Пахомовна Трошина), как и родились, почти одновременно, с разницей всего в неделю – на 87 году жизни.

Сентябрь в Сосновском районе выдался в тот год замечательный – теплый и сухой. Уходить из жизни в такую пору – одно удовольствие. Господь, словно в награду за все хорошее, отправляет в последний путь, благословенно осияв всеми красками хлебосольной осени. И как бы дает знать возносящимся в горние выси, что такая же благодать бабьего лета ожидает там на веки вечные всех праведно проживших на земле.

К последнему дню своего существования шли Анька-зенитчица и Маня-большая разными дорогами. Лишь однажды на краткий миг пересеклись их пути, чтобы разойтись снова. Но, бог даст, там, за гранью брэнного мира встретятся они вновь, чтобы воссоединиться душами своими, дабы уже не расставаться больше никогда...